ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



7 [242] июль 1975

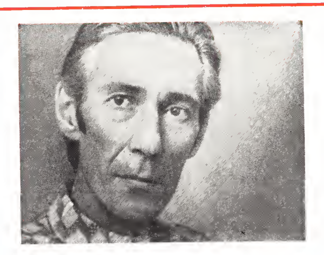
Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



Рисунки А. БАРАХТЯНСКОГО.

Юрий
АБДАШЕВ





ПОВЕСТЬ

ПЯТЬ ТЫСЯЧ МИЛЬ ДО НАДЕЖДЫ

1

Розоватый лиственничный брус слегка растрескался от времени, и янтарные капли смолы, как тяжкие слезы, поблескивали на сбитых сучках. С солнечной стороны смола затвердела и покрылась белесоватым налетом, похожим на соль тончайшего помола.

Не так-то просто было Святославу Владимировичу раздобыть в свое время эти самые брусья, которые, по его мнению, единственно годились на киль для небольшого морского судна. Лиственница, увы, не растет на юге, и он вынужден был выклянчивать какие-то несчастные полтора десятка метров на лесном складе вагонного участка. Для этого пришлось пустить в ход старые связи. Над школой, в которой Святослав Владимирович много лет преподавал географию, шефствовал железнодорожный узел.

Со шпангоутами было проще: сюда шел сухой прямослойный дуб, достать который не составляло особого труда.

Стапель стоял в глубине огорода, подальше от любопытных глаз, и все же в поселке не было человека, который не знал бы о том, что старый учитель строит настоящий десятиметровый шлюп с гафельным вооружением.

С открытой терраски Святославу Владимировичу был превосходно виден этот его нехитрый стапель с полным деревянным набором, со всеми бимсами, стрингерами и карлингсами. Для этого стоило только, подтянувшись за перила, поднять голову со скрипучей раскладушки.

Теперь он с грустью отмечал, что недостроенный шлюп постарел вместе с ним, так и не успев погрузиться в морскую купель. А сколько раз его фантазия облекала голый каркас в легкую и прочную обшивку! Он словно наяву видел покрытые белой эмалью сверкающие борта и кораллово-красное днище, окаймленное по ватерлинии тонкой синей полосой. Его воображение рисовало протертые до хрустального блеска стекла иллюминаторов в небольшой палубной надстройке. Это была яхта с коротким бушпритом и стремительными обводами.

Однако работа двигалась медленно. Нелегко приходилось с материалами, да и других причин было достаточно. Одна из них заключалась в необыкновенной кропотливости и аккуратности, свойственных этому человеку. Не только мореходные качества и запас прочности будущего парусника, не только его красота и изящество линий заботили хозяина. Он привык к тщательности в отделке, в подгонке деталей, к добротности, без которой, как он считал, нельзя было построить по-настоящему надежное и быстроходное судно.

Кое-кто ломал голову: «Яхта? Зачем?! Что за блажь?»

Но что могли знать эти люди? Они и ведать не ведали, как еще в мальчишеские годы его поразил таинственный вирус, принесший неизлечимую болезнь — вечную, тревожную любовь к морю. Они, конечно же, ничего не знали и о том, как он впервые увидел громадную рогатую раковину с мудреным названием. Эта раковина стояла на буфете в виде украшения, и рядом с ней меркло все остальное, созданное руками человека. Детское подсознание отмечало в ней божественное происхождение от самой Матери-Природы, торжественно провозгласившей однажды: «Да будет жизнь!»

Внутри раковина была окрашена в розовато-оранжевые тона, которые в глубине становились все насыщеннее и ярче. Края ее казались оплавленными в раскаленном тигле. Ее гладкая внутренняя поверхность блестела свежим гончарным поливом, и было ощущение, будто этот живой огненный блеск некогда запечатлел в себе всю необузданную силу доисторического солнца.

Раковину привезли откуда-то с Маскаренских островов, с берегов далекого Индийского океана.

С тех пор Маскаренские острова стали его неосознанной мечтой. Ему грезились рощи кокосовых пальм, клонящихся над ослепительно-желтыми песчаными отмелями, заросли бамбука, населенные неведомыми птицами; его преследовал запах ванили, которая, как ему сказали, растет там в изобилии, опутывая своими вьющимися стеблями молодые кофейные деревья. Ему даже казалось, что он чувствует на ощупь жесткость ее темно-зеленых кожистых листьев. И он слышал шум океана. Стоило к раковине приложить ухо, как в ее темном лабиринте рождались звуки, похожие на бесконечный гул наката, когда многотонные зеленоватые волны вдребезги разбиваются об острые коралловые рифы и белая пена, шипя и пузырясь, быстро тает на песке пляжей. Он замирал от волнения, и ему приятно было прикасаться ухом к холодной глянцевитой эмали.

А рядом со всем этим шла другая, обыденная жизнь со своим убожеством и своей красотой, со своими радостями и болями.

У Святослава Владимировича была нелегкая трудовая юность. Потом был фронт, тяжелое ранение в ногу, после которого он всю жизнь немного прихрамывал.

Его мечта побывать на далеких островах в Индийском океане то отступала на задний план, почти забывалась, то с новой силой напоминала о себе. И странно, чем труднее приходилось ему в жизни, чем суровее обходилась с ним судьба, тем чаще он вспоминал о своей мечте, и даже в самые лютые морозы его грело ослепительное солнце надежды. В те годы он еще не задумывался, насколько осуществимы его дерзкие замыслы. В конечном счете это было не так уж важно. Острова существовали в его воображении как бы сами по себе, перешагнув за грань реального.

После войны Святослав Владимирович окончил географический факультет пединститута. И в этом, очевидно, тоже была своя закономерность.

Уже на последнем курсе он познакомился с Верой. Она была на шесть лет моложе его и заканчивала местное педучилище. Ее отличали спокойная, плавная походка и такой же спокойный, негромкий голос. В округлых чертах ее лица не было ничего резкого, оно чем-то напоминало мягкий камень, обкатанный морем. Облик ее, казалось, был начисто лишен ярких индивидуальных черт. Святослав Владимирович даже долго не знал, какого цвета у нее глаза. Однажды мать с пристрастием допрашивала его о подруге. Наконец она спросила с едва скрываемым раздражением:

— Ну хоть глаза-то у нее какого цвета, это, я надеюсь, ты помнишь?

— Хорошие глаза,— смущенно ответил он.— Хорошие, это я знаю точно.

Уже потом он узнал, какие у нее глаза — темно-серые, настолько темные, что порой они казались прямо-таки черными. И только на солнце в них загорались серебристые искры.

Действительно, в ее внешности вроде бы не было ничего броского, запоминающегося. Но это лишь обманчивое первое впечатление. Веру нельзя было назвать красавицей, это точно, но и некрасивой ее никто не рискнул бы назвать. Только узнав ее ближе, Святослав Владимирович понял, сколько у нее своего, особого, присущего только ей одной: взгляд, остановленный на нем, неожиданный, откровенный, доверчивый, запах ее волос, ее кожи, теплое, какое-то трепетное прикосновение ее ладони к его плечу, привычка говорить «славно» вместо «хорошо» и обращение «милый», в котором не было ничего книжного или пошлого, потому что слова эти естественно вытекали из особенности ее характера. Ему было тепло с ней и легко. Настолько легко, словно он вволю надышался освежающим озоном.

И он полюбил ее. По-настоящему. Навсегда.

— Мне всю жизнь не хватало веры,— пошутил он однажды.— Как видишь, я совсем не случайно выбрал тебя.

Вера была единственным человеком, которому он доверился до конца, кому поведал свои сокровенные мечты. Он ждал и боялся серьезного разговора, не зная, как она отнесется к нему.

— Наверное, это плохо, когда наша жизнь строится на случайностях,— серьезно ответила она.— Случайно увидел раковину, случайно услышал рассказ об островах, только вот, как выяснилось, не случайно встретился со мной. Так может показаться, если не знать тебя. Но я-то ведь хорошо знаю, милый, что у тебя все по-другому. Ты неистовый человек, даю слово! И знаешь, я подумала: если ты так предан своей идее, то у меня, пожалуй, есть основание рассчитывать, что это твое постоянство в какой-то мере распространится и на меня...

Его длинные, нервные пальцы осторожно коснулись ее щеки.

— Боюсь, мне не всегда хватает последовательности,— вздохнул он,— хотя я и преуспел кое в чем.

— По-моему, тебе просто необходимо, чтобы впереди все было ясно, чтобы знать, чем заниматься сегодня, завтра, послезавтра...

— Неужели мы когда-нибудь действительно поплывем? — вырвалось у него, и глаза его вспыхнули странным блеском, который не мог не поразить ее.

— Мы — не думаю, а ты — почти убеждена. Я ведь страшная трусиха, и потом меня укачивает даже в автобусе. Но ведь это совсем не главное. Поплывешь без меня. Ждала же Пенелопа своего Одиссея. Я понимаю так: тебе нужен не спутник, а единомышленник...

Потом началась работа в школе. Коллеги ценили его и относились к нему с уважением, потому что считали его человеком незаурядным, начитанным, знающим свое дело. Его любили ученики за то, что он отдавал им все свободное время. Он не воспитывал их, а жил с ними одной жизнью, и авторитет его был непререкаем. Он учил их строить модели кораблей и ходил с ними в походы, которые длились много дней.

Для того, чтобы возглавить шлюпочный поход по Кубани и затем по Азовскому морю от Ачуева до Темрюка, научиться пользоваться парусами, ему пришлось закончить курсы при морском клубе местного ДОСААФа и получить диплом старшины шлюпки.

В масштабах школы это был легендарный поход, оставшийся темой для педагогических дискуссий и предметом зависти последующих поколений учеников. Уже потом, задним числом, многие не переставали задавать вопрос, как это он, один-одинешенек, отважился пуститься в столь рискованное предприятие на трех парусных ялах-шестерках с семнадцатью головорезами-девятиклассниками на борту. Но разве тогда он способен был думать о каких-то там печальных последствиях, которые могли подстерегать их на каждом километре пути? Просто сердце его билось в одном ритме с сердцами ребят, оно звало к риску и подвигу.

2

В память впечатались отдельные кадры и сцены, похожие на обрывки старой киноленты.

...Только на пятый день, пройдя на веслах по течению более двухсот пятидесяти километров, вышли в открытое море. Впервые подняли паруса. После нескольких дней изнурительной работы на веслах плавание под парусами воспринималось всеми как заслуженная награда, как акт высшей справедливости. Это были поистине часы безмятежного отдохновения от трудов праведных.

Ребята лежали на деревянных банках или прямо на решетчатых «рыбинах», устилавших дно шлюпок, и, прячась от солнца в тени парусов, глубокомысленно рассматривали мозоли, которыми успели обзавестись за дни похода. Один Мишка Башкирцев стоял на носовом люке, слегка придерживаясь рукой за зыбкую опору ликтроса. Он картинно возвышался над форштевнем, смуглый от загара и столь великолепно сложенный, что его невольно хотелось перенести на цветную обложку иллюстрированного журнала, прямо так, как есть, с растрепанной шевелюрой, в порыжевших на солнце плавках.

Сейчас, на досуге, Святослав Владимирович с интересом поглядывал на своих ребят, словно видел их впервые. До чего же они были не похожи друг на друга! Володька Саенко, тощий, как степная борзая, мог бы легко сойти за живое пособие для изучающих анатомию, готовый подтрунивать над кем угодно и когда угодно; Роман Анохин, тихий и застенчивый, краснеющий по любому поводу, как красна девица, белолицый, с глубокими темными глазами, в которых отчетливо угадывалась постоянная работа мысли; и, наконец, Виктор Дементьев, крепыш с выпуклым лбом, крупным носом и широко расставленными глазами, начитанный, в меру ироничный, но в обращении с любимым учителем легко сбивающийся на тон дешевого панибратства.

Они действительно очень отличались друг от друга, и не только внешне, но тем заметнее было их единодушие в отношении к Святославу Владимировичу. Он был одним из немногих, кто в школе не имел прозвища. Никакого. Заглазно ребята называли его просто по имени, разумеется, без отчества, что, по идее, должно было приравнивать его к членам великого братства, служить своеобразным паролем, пропуском на беспрепятственный вход в их обособленный мир. Это означало высшее доверие, а большего ему и не требовалось...

Слева от них проплывали низкие берега, желтовато-розовые от битой ракушки, и бесконечное пространство камышовых крепей, тонувших в дымном мареве, в теплых испарениях мелких, прогретых солнцем лиманов.

Во второй половине дня ветер неожиданно переменился и стал набирать силу. Небо быстро заволокли облака. По морю пробежала судорожная рябь. Поверхность воды какое-то время дрожала и вибрировала, словно кожа исполинского животного в предсмертной агонии. Свежак протяжно запел в снастях, и брызги от ударивших в борт волн начали осыпать ребят с ног до головы.

Это был типичный шквал, и Святослав Владимирович передал по шлюпкам команду переменить курс и идти к берегу. С каждой минутой становилось все темнее. Небо приобрело угрожающий зеленовато-пепельный оттенок. За считанные минуты вздыбились крутые волны. Теперь они били в корму. Пришлось снова браться за весла.

Святослав Владимирович сидел у руля передней шлюпки и, стараясь перекричать рев разгулявшейся стихии, подавал команды. Он промок насквозь, волосы облепили лоб, и струйки воды стекали с его носа и подбородка. Он не испытывал в этот момент ни страха, ни беспокойства за ребят. Он был уверен в них, как в самом себе. Иначе чего бы стоила его наука.

— Навались! — весело кричал он, отплевываясь от солоноватой забортной воды, и в глазах его брезжил огонек какого-то необъяснимого сумасшедшего азарта.— Молодцы, ребятки! Славно! — незаметно для себя пускал он в ход любимое Верино словечко.

Это состояние отчаянной удали невольно передавалось и ребятам, вселяло в них уверенность, помогало действовать слаженно и четко.

— Внима-а-ание! — звенел на высокой ноте голос Святослава Владимировича.— Выбрасываться на берег носом! Веселей, веселей! — покрикивал он, когда очередная волна подкатывала к самой корме.— Береги весла!

Под килем зашелестело песчаное дно. Шлюпка конвульсивно дернулась и замерла на месте. Высокая волна тут же накрыла корму. Но опасности это не представляло — они были уже на берегу.

Святослав Владимирович прыгнул за борт, успев только выдернуть из гнезда румпель и крикнуть ребятам, чтобы побыстрее оттаскивали тяжелый ял от линии прибоя, а сам бросился встречать остальные шлюпки.

Решение выбрасываться носом на берег в этой обстановке было, пожалуй, наиболее правильным и

безопасным. При шквалистом ветре и крутой волне всякие дополнительные разговоры чреваты серьезными неприятностями. Кроме того, берег здесь был пологий, песчаный, и Святослав Владимирович, выполняя такой маневр, не рисковал разбить шлюпки.

Прошло всего несколько минут, и три «шестерки» стояли уже на суше далеко от уреза воды. Настала пора прийти в себя и оглядеться. Маленький отряд оказался на песчаной косе, которая имела в ширину не более ста метров и была зажата с одной стороны морем, а с другой плавнями — непролазными болотами и камышом.

— Ну, братцы, держитесь, что-то будет,— притворно поежился Колька Крутилин, вечный шкодник и выдумщик.— Только теперь начнутся настоящие приключения.

Невдалеке от места высадки обнаружили забитое морским песком гирло лимана. На другом берегу возле чахлых вербочек стояло облупленное, напоминающее сарай строение. Скорее всего это был заброшенный рыбацкий стан. Об этом говорили поржавевшие и погнутые железные койки, сваленные кучей в углу. Убогое строение, несмотря на свою ветхость, могло дать ребятам вполне надежное укрытие...

И еще одна сценка осталась в памяти.

...Утро третьего дня. Оно встретило их солнцем и крепким ветром с норд-оста. Шторм разыгрался не на шутку, и было совершенно очевидно, что злополучная пустынная коса станет их прибежищем на долгий срок.

После завтрака ребята рассказали, что в гирле и в самом лимане полно дохлой рыбы.

— Это цветут водоросли,— сказал Святослав Владимирович,— давно не было дождей, выход в море отрезан, и рыба задыхается без кислорода.

А через полчаса, вооружившись лопатами, ребята горячо принялись за дело. Работали по очереди, сменяя друг друга. И хотя копать рыхлый ракушечник было нетрудно, канал закончили только к полудню. То, что не успели доделать люди, завершило море. Волны без труда размывали остатки перемычки.

И тут пошла рыба. Сначала кто-то опустил руку в воду у самого основания канала и вытащил полную горсть живых мальков размером не больше спички. Но вскоре стала попадаться рыбка и покрупнее. Колька Крутилин за несколько минут набил полный чайник отличными красноперками. Задыхающаяся рыба рвалась из лимана в открытое море.

Святослав Владимирович, изрядно умаявшись, пошел в барак покурить и полежать перед обедом на тростниковой подстилке. От ветра и яркого солнца у него разболелись глаза. Но отдохнуть не пришлось. Едва он почувствовал, как в прохладе его начинает одолевать приятная дремота, послышался истошный крик, который подбросил его с постели, словно под ним сработала стальная пружина. Что там могло случиться? У него даже кожу свело между лопатками от нервного напряжения.

Еще не успев ничего сообразить, он выскочил наружу через узкий дверной проем и остановился, ослепленный ярким полуденным солнцем.

В размытом канале, невдалеке от линии прибоя, лежал на мокром песке Сережка Трофимов, прижимая голым животом что-то громадное, живое, похожее издали на крокодила. Когда набегала волна, вода накрывала его до самых плеч, но стоило ей откатиться назад, как он оказывался на суше, продолжая барахтаться в грязи.

— На языке спортсменов это называется дуэлью с собственной тенью,— хладнокровно заметил Саенко, стоявший неподалеку.

— Просто повторяется история с чеховским налимом,— не без сарказма усмехнулся Виктор Дементьев.— За жабры его, за жабры!

Трудно сказать, сколько времени длилось бы это сражение, если бы на помощь не подоспели ребята. И огромный карп очутился в конце концов на берегу. Это было настоящее чудище, библейский левиафан! Почти черная чешуя его не уступала размерами пятаку. Когда Сережка поднял рыбу за жабры на уровень собственной груди, хвост продолжал хлестать по земле. Ничего подобного Святослав Владимирович в жизни не видел. Больше того, он был уверен, что ни один серьезный человек не поверит ему, если он вздумает рассказать по возвращении домой о том, чему был свидетелем.

Однако чудеса на этом не кончились. По мере того, как море расширяло проход в им же воздвигнутой перемычке, плотность рыбы в импровизированном канале продолжала возрастать на глазах. Она шла валом, живой рекой. Иногда, когда волны откатывались особенно далеко, вся эта трепещущая масса оказывалась на голом песке, но уже следующая волна подхватывала ее и уносила в темную глубину.

За считанные минуты ребята успели повыхватывать еще с десяток огромных рыбин. И только тогда опомнились — зачем? Она же пропадет через несколько часов. И разве в расчете на легкую добычу они грызли лопатами перемычку под сумасшедшим июльским солнцем? Ведь что-то совершенно иное двигало ими в то время...

Рыбу пустили в море. Оставили одного карпа, того самого патриарха, которого Сережка накрыл собственным телом.

3

А зимой они ходили в кружок моделистов строить крылатые парусные корабли. Здесь бессменным старостой до конца оставался все тот же Серега Трофимов. В жизни Святослава Владимировича судомодельный кружок занимал важное место. Для этого ему пришлось изучить основы кораблестроения. Его знаниям и эрудиции мог бы позавидовать иной дипломированный инженер или специалист по истории парусного флота.

Его клиперы и фрегаты, барки и бригантины, построенные за долгие годы работы в школе, украшали выставки и музеи, стояли по праву на самых почетных местах в квартирах друзей и бывших учеников. Сколько изобретательности и остроумия потребовалось от него, чтобы научиться изготовлять микроскопические дверные петли и блоки для талей, отливать крошечные якоря, обрабатывать их с ювелирной тонкостью и потом мастерить к ним филигранные цепи! Здесь недостаточно было одного терпения — здесь нужны были талант, подлинное вдохновение и высокая цель...

Хотя он и не ставил перед собой чисто воспитательных задач — они лежали как бы за пределами его человеческих интересов,— работа над маленькой копией настоящего парусника способна была сама по себе воспитать в человеке аккуратность и точность, чувство законченности форм и, наконец, долготерпение, без которого все остальные качества, по мнению Святослава Владимировича, не имели никакого смысла.

И все-таки больше всего ребятам запомнился он на уроках физической географии, когда его фигу-

ра, обычно слегка сутуловатая, как часто бывает у высоких, сухопарых людей, вдруг выпрямлялась, становилась по-юношески стройной, а в желтовато-карих глазах вспыхивал тот неистребимый блеск наивысшего душевного подъема, который в свое время так поразил его молодую жену.

Лицо Святослава Владимировича и в молодости не отличалось округлостью. Костистый прямой нос, острый кадык и слегка выступающие скулы делали его жестким и твердым, как бы начерно вырубленным из куска темного дерева. Оно напоминало грубую заготовку для скульптурного портрета. Оживляли его глаза и улыбка, немного грустная и всегда обезоруживающая.

Но когда он говорил о том, что его волновало... Как он говорил! Мысли и образы обрушивались лавиной, он буквально захлебывался в них. Ему не нужно было подыскивать слова. Он только успевал отбрасывать лишние, менее точные и значительные. На уроках это особенно бросалось в глаза, если иметь в виду, что в обычной обстановке Святослав Владимирович был довольно сдержан и немногословен. И какая тогда стояла тишина!

Дома, в маленькой, тесной квартирке, рядом с моделью парусника были расставлены на полках старые навигационные приборы, теперь уже вышедшие из употребления, но достать которые от этого было еще труднее: слишком много любителей всякого антикварного хлама развелось за последнее время. На стенах висели затертые на сгибах морские карты, давно списанные по причине своего ветхого состояния. Подлинным украшением комнаты были роскошный барометр и цейсовский морской бинокль — единственный трофей, вывезенный им в сорок пятом из поверженной Германии. У него были лоции — весьма редкие книги в нынешних частных библиотеках.

Иногда Святославу Владимировичу казалось, что путь в пять тысяч морских миль от восточных берегов Черного моря до Маскарен он мог бы проделать на ощупь, вслепую, так зримо представлял он себе и знаменитый Босфор с минаретами Истамбула, и гористые, поросшие козьим кустарником острова Эгейского моря, и зажатый в песках пустыни Суэцкий канал, где огромные корабли плывут как бы прямо по песчаной равнине. Ему даже чудилось, будто подобное путешествие им уже и впрямь совершалось когда-то в давние, незапамятные времена. Воображение становилось для него второй памятью.

Он, как никто другой, сознавал, сколько опасных ловушек подстерегает мореплавателя-одиночку в столь долгом пути. Тут и мощные ураганы, при которых скорость ветра достигает порой двухсот километров в час, вздымающие целые водяные горы и ломающие корабельные мачты, как спички; и острые рифы, которых не могут избежать даже суда, нашпигованные новейшими приборами, и гигантские кальмары, нападающие на современные танкеры, способные сотрясать могучий корпус и делать глубокие вмятины в стальной обшивке.

Немалую опасность таил в себе и возникающий без всяких видимых причин нервный срыв, который нередко приводит даже бывалых и очень мужественных моряков, плывущих в одиночку, к тяжкой душевной депрессии, к внезапному страху перед беспредельностью океана. Участник кругосветной парусной регаты, знаменитой «гонки столетия», Джон Риджуэй, который до этого вместе с напарником за девяносто два дня пересек на веслах Атлантику, одним из первых сошел с круга. Он был раздавлен одиночеством и плакал, как ребенок.

Но у Святослава Владимировича, кроме того, хватало и своих забот, связанных с особенностями задуманного маршрута. Нужно было учесть и встречное направление тропических муссонов, и Южное пассатное течение, способное значительно замедлить ход судна, и неизбежное знакомство с районом возникновения тайфунов в северо-западном углу Индийского океана, и вероятность быть смытым за борт без всякой надежды на спасение.

4

Мать Веры и ее отчим жили невдалеке от Новороссийска в маленьком рыбачьем поселке Якорном, который со всех сторон обступали слоистые, вечно осыпающиеся мергелевые скалы, поросшие древовидным можжевельником с медно-красными перекрученными стволами, дикой фисташкой и кустиками скумпии. Листья ее, если размять их в пальцах, остро пахли чем-то похожим одновременно и на полынь и на хвою.

Осенью, в период штормов, на море часто возникали смерчи, огромные водяные колонны с раструбами у самых облаков. Они гнулись под напором ветра, иногда рушились где-то у самого горизонта. Но бывали случаи, когда смерч налетал на берег, и тогда он вдребезги разбивал временные причалы, вырывал с корнем молодые деревья в садах, поднимал в воздух штакетник, даже уносил столики с открытой террасы колхозной столовой и потом выбрасывал все это далеко в горах. В такие дни по руслам ручьев и речек шла валом соленая морская вода.

Родной отец Веры и ее старший брат не вернулись с фронта. Второй раз мать Веры вышла замуж за пожилого вдовца, с которым познакомилась еще в годы войны. Несколько дней он, раненный, отлеживался у них дома. Жили они тогда в деревне, невдалеке от Смоленска. Сам Григорий Кириллович был с Кубани. После демобилизации он прислал Вериной матери несколько писем, а потом приехал за ними. Мать долго упиралась. Тяжелое время, дочь надо растить, поднимать на ноги, а тут продавай все: дом, корову — и езжай бог знает куда. Григорий Кириллович нравился ей своей степенностью, серьезностью, мужик, одним словом, самостоятельный, но о втором замужестве она вовсе не помышляла. И вот на тебе... Но все-таки решилась, поехала. Впрочем, она в этом никогда не раскаивалась.

Григорий Кириллович мало чем напоминал типичного рыбака. Был он приземист и подвижен, говорил фальцетом, его легко было разжалобить и заставить пустить слезу. Солидности не прибавили ему даже смешные морковые усы, которые он отпустил после войны. Но было в нем главное — он всегда оставался надежным человеком.

А когда Григорий Кириллович выпивал, то окончательно размягчался и добрел, хоть веревки вей. Правда, была у него одна слабость: в такие минуты он не мог сдержать бесконечный поток слов. Он то и дело вспоминал военные истории, и, слушая его, можно было подумать, что ратное ремесло было единственным, чем он занимался всю свою жизнь.

Домик у них был аккуратный, теплый, но маленький — всего две комнаты, кухонька да открытая веранда, с которой хорошо были видны и море, и огород, и бригадный стан с новым рыбцехом, крытым свежей дубовой дранкой.

Мать умерла в тот самый год, когда у Веры появилась на свет дочь Надя. Григорий Кириллович

загрустил. Никогда не имевший своих детей, он успел привязаться к падчерице и гордо называл ее своей дочкой.

— Вот дочка с зятем приедут летом,— обычно говорил он соседям,— тогда, гляди, повеселей будет.

И они каждое лето приезжали в этот поселочек, проводили там два прекрасных месяца. Русло почти полностью пересыхающей речки было полно таинственности. Там росли лопухи, гигантские, как уши африканских слонов, и папоротники высотой больше человеческого роста. Там жили черепахи и желтопузики, а в ветвях кизила гнездились иволги и драчливые щеглы.

За лето Надюха загорала до черноты. От жесткой морской воды коротко остриженные волосы задиристо топорщились, и во всем ее облике было что-то озорное, мальчишеское, залихватское. Она прибегала домой со сбитыми коленками и облупившимся носом, с чертиками в светло-серых глазенках, казавшихся еще светлее на смуглом цыганском лице.

Для девчонки это была пора великих открытий. Она становилась невольной свидетельницей бесчисленных таинств природы. При ней дрозды выкармливали своих птенцов и паук ткал паутину, которая сама по себе уже была совершенством. Она видела, как рождаются лесные ручьи и как из земных недр в корнях старого, дуплистого дерева выбивается холодный родник. И Святослав Владимирович с Верой не уставали радоваться этому так, как если бы сами заново познавали мир.

Некоторые открытия она делала самостоятельно. Однажды пришла с головы до ног вымазанная чем-то похожим на серую глину.

— Да что же это такое? — всплеснула руками Вера.— Где же это тебя носило, моя милая?

— С ребятами. Ты не волнуйся, мамочка, это мыльный камень. Он смывает всю грязь...

Святослав Владимирович сделал ей сачок из марли, и они ловили бабочек, ярких, как альпийские цветы. У них собралась целая коллекция, и вечерами они подолгу рассматривали неповторимые узоры на крыльях разных аполлонов, адмиралов и траурниц.

Даже Григорий Кириллович, на что уж земной человек, взглянул как-то раз на все это пиршество красок и не удержался:

— Это ж надо! Сколько видел — летают, ну и летай себе на здоровье. Ничего особенного. А вот так, сразу... Это ж боже ты мой!

Надя покосилась на него и, обняв отца за шею, спросила шепотом:

— А что, дед до сих пор не знает, что бога нет?

Как большинство детей, она умела и удивить, и рассмешить, и растрогать. То скажет: «Ма-а, давай спать козырем» — что проще перепутать козыря с валетом, то вдруг увидит свежую фотографию, где ее сняли на горячих камнях пляжа, и вздохнет: «Вот посмотрю зимой на карточку, и тепло станет...»

Это было счастливое время! Казалось, никакие силы не смогут омрачить жизнь. Все в их мире представлялось незыблемым и вечным. Святослав Владимирович был молод, здоров. Он любил свою жену и свою дочь. «Мои девчата,—пошучивал он,— и Вера моя и Надежда».

Он почему-то всегда вспоминал, как однажды, когда еще жива была мать, ходили они с Верой вдвоем купаться ночью.

Договорились днем, но к вечеру поднялся ветер и заметно похолодало.

— Ты знаешь,— сказала она, поеживаясь,— меня что-то не больно тянет на подвиги.

— Что ты! — притворно ужаснулся он.— Теперь уже отступать некуда. Когда решение принято, всякие компромиссы постыдны. Они просто недостойны таких сильных и мужественных людей, как мы с тобой.

Он запомнил, как она стояла на каменной гряде в полосатом купальнике, с волосами, стянутыми на затылке простой аптечной резинкой, вся облитая серебряным блеском полнолуния, и гребешки волн, перехлестывая через скалу, осыпали ее ноги бисером соленых брызг. Какое волнующее чувство нежности в этот момент переполняло его душу!

Он первым вошел в холодную воду, хотя, говоря по чести, ему и самому не очень-то хотелось купаться, и, набрав воздуха, нырнул с решимостью человека, которому приходится прыгать из идущего на полном ходу поезда.

На берег они вышли вместе, держась за руки, потому что под ногами были скользкие, покрытые слизью камни. На резком ветру он мгновенно окоченел, и зубы его сами собой стали выщелкивать дробь. Его не переставало колотить, пока он растирался полотенцем и переодевался в сухое. А потом они сидели на коряге под защитой каменной гряды, и Вера грела его, прижимая к себе и тепло дыша в самое ухо.

Именно в те их первые дни Святослав Владимирович и заложил в огороде свой знаменитый шлюп. Он тщательно вытесывал килевую балку, строгал материал для шпангоутов, и свежая древесина так волнующе пахла осенним грибным лесом.

Уж кто-кто, а он умел работать красиво. Надо было видеть, с какой ловкостью, с каким профессиональным изяществом Святослав Владимирович орудовал и топором, и пилой, и ручной дрелью. Вера могла часами наблюдать, как он строгает, пилит и сверлит. Пройдется фуганком по тонкому сосновому бруску и, словно бы лаская, проведет по нему пальцами, будто это и не дерево вовсе, а нежная, бархатистая кожа ребенка. А с какой прямо-таки хирургической точностью он работал стамеской! Ударит по обушку твердой ладонью и выколет ровно столько, сколько нужно, и ни на миллиметр больше. И гвозди вбивал по-снайперски — с сухим звуком пистолетного выстрела. Одним-двумя ударами вгонял их по самую шляпку. Да еще и приговаривал: «Вот, вот, самое тут и место тебе». Вера считала, и не без основания, что уж если и существует выражение «умные руки», то к мужу ее оно имеет самое прямое отношение.

Григорий Кириллович смотрел на затею со шлюпом снисходительно, но с пониманием. С вопросами не лез и в дела Святослава Владимировича не вмешивался. Иногда спрашивал ненавязчиво: «Может, помочь чего?» Но, услышав заверения, что тот и сам справится, потирал шишковатую, стриженную машинкой голову, успокаивался и принимался за свои обычные дела.

В Якорном часто появлялись ученики Святослава Владимировича, и бывшие, уже успевшие окончить школу, и те, что еще продолжали учиться у него. Он притягивал их к себе, подобно магниту. Им нравилась его комната в городе, похожая чем-то на старую штурманскую рубку, и скромное жилище в поселке с развернутыми на столе чертежами парусников, исписанными по краям формулами и колонками цифр, с запахом туши, с разбросанными инструментами настоящей рихтеровской готовальни. Нравилось его сосредоточенное лицо, похожее в профиль на барельеф североамериканского индейца — не хватало только головного убора из орлиных перьев,— нравилась и Вера Алексеевна, всегда

ровная, доброжелательная и как бы разделяющая с ними интерес к занятиям мужа.

Однажды Надюшка, которая крутилась тут же, незаметно показывая пальчиком на огород, сказала тоном заговорщика:

— А у нас там корабль...

Ребята переглянулись.

— Ерунда, это колхозная фелюга,— небрежно махнул рукой Святослав Владимирович.

За десять лет, что они прожили вместе, Вера не перестаaала удивляться ему. Не отступая ни на шаг, он неспешно продвигался к намеченной цели. Он неплохо выучил английский язык, хотя с произношением не очень-то ладилось, научился работать с радиотелеграфом, сумел раздобыть многие материалы для постройки яхты. Он буквально по граммам, по дробинкам собирал свинец. А нужно было его более трех тонн!

Веру смущал вопрос о разрешении, о визе, но он был уверен, что «потепление международного климата», как обычно писали в газетах, со временем упростит его задачу. Почему могут совершать плавание в одиночку англичане, французы, японцы и поляки? Разве россияне не утвердили за собой славу отличных мореходов? Короче говоря, он твердо уверовал, что своего добьется и ему не откажут. Был бы шлюп... Он сумеет доказать, что риск в случае с ним почти сведен к нулю. И нет другого человека, который был бы подготовлен лучше, чем он.

5

И все шло своим чередом. Но однажды произошло событие, рядом с которым надолго померкло все остальное. Беда пришла внезапно, с той стороны, откуда ее меньше всего ждали.

Как-то зимой, когда Святослав Владимирович первым пришел с работы — Вера обычно задерживалась в школе со своими малышами,— Надюшка лежала на диване, бледная, поджав к самому горлу худые коленки.

— Что с тобой, дочка? — спросил он, машинально трогая рукой ее лоб.— Что-нибудь болит?

— Вот здесь.— Она осторожно погладила школьный фартук на животе.— Меня отпустили с уроков...

— Здесь? — Он коснулся пальцами ее правого бока и заметил, как она вздрогнула и скривилась, очевидно, не столько от боли, сколько из-за страха, что он может причинить ей боль своим неосторожным прикосновением.

— Везде. И здесь тоже.

Святослав Владимирович, не одеваясь, побежал через улицу к соседке, детскому врачу, которая недавно вышла на пенсию.

— Вызывайте «Скорую»,— только и сказала она, осмотрев девочку.

— Что-нибудь серьезное?

— Если говорить точнее... Это приступ аппендицита. А что там и как, этого я не знаю.

«Неотложка» доставила Надю и Святослава Владимировича в клинику экстренной хирургии.

— Ты сможешь идти сама потихоньку? — спросила ее сестричка из приемного отделения.

— Да,— виновато улыбнулась она. Потом обернулась к отцу.— Ты не волнуйся, пожалуйста. Я сейчас вернусь.

— Посидите, пока ее осмотрит дежурный врач,— обратилась к нему сестра, поддерживая Надю под локоть.— Это недолго.

Святослав Владимирович рассеянно пробегал взглядом по цветным плакатам, которые наглядно обучали, как оказывать первую помощь при несчастных случаях, как защищать глаза от металлической стружки и беречь зубы. Ждать пришлось долго, больше получаса, и в конце концов из дверей вышла не Надя, а все та же сестра в сопровождении сумрачной, ко всему равнодушной санитарки, которая несла узелок с Надиными вещами.

— Может быть, мне все-таки разрешат пройти к дочери? — сказал он, волнуясь.— Ведь она еще совсем ребенок: ей еще и двенадцати нет.

— Куда уж там... Не она первая, не она последняя,— решительно возразила санитарка.

— Врач сказал, чтобы вы пришли утром,— улыбнулась сестричка.— Тогда все будет ясно.

Святослав Владимирович растерянно пожал плечами. Такой настойчивый в своих занятиях, он совершенно терялся, наталкиваясь на чиновничью безапелляционность, на человеческое равнодушие. Здесь он совсем не умел постоять за себя. «Вот Вера, та бы сумела»,— подумал он, окончательно разозлившись на собственное бессилие, но только безнадежно махнул рукой.

В эту ночь они с Верой почти не спали. С утра оба позвонили на работу, предупредили, что опоздают, и к девяти часам были уже в больнице.

В приемном отделении дежурная долго перебирала какие-то карточки, потом звонила на третий этаж и, наконец, сказала:

— Вашей девочке операцию сделали еще вчера вечером.

— И она все время была одна? — с гневом и возмущением вырвалось у Веры.— Посмотрела бы я, как бы вы вели себя на моем месте!

— Не волнуйтесь. Это больница. Чувствует девочка себя нормально. В вестибюле вам дадут халат. Сможете пройти к ней в палату. По очереди, конечно.

Когда Святослав Владимирович поднялся по лестнице, Вера, накинув пальто, уже мчалась куда-то искать лимон для дочери. Он немного замешкался перед стеклянной дверью палаты, закрашенной белилами, и, наконец, глубоко вздохнув, перешагнул порог.

Надя лежала на спине, бледная, почти голубая. При виде отца уголки ее губ дрогнули в ободряющей улыбке. Рядом с ней на стуле сидела незнакомая женщина в синем байковом халате. В руках она держала стакан и ложечку, для чего-то обернутую бинтом.

— Ну, как ты тут, подружка моя? — спросил он каким-то чужим, неестественно бодрым голосом.

— Надя у нас молодец, стойкая женщина,— ответила незнакомка,— даже не застонала ни разу.

Она поднялась, уступая место Святославу Владимировичу. Он взял в ладонь горячую руку дочери, и сердце его мучительно сжалось от любви к этому маленькому мужественному человечку.

— Тебе очень больно? — тихо спросил он.

— Немножко. Можно терпеть. Ты только не беспокойся. И мама пусть...— Она улыбнулась слегка.— Мы ведь поплывем с тобой к тем островам? Правда, папа?..

На девятый день Надю должны были выписывать. Святослав Владимирович с Верой договорились поехать вместе к двум часам. До Вериной школы он мог дойти пешком за пятнадцать минут. А там рядом остановка такси.

Но в одиннадцать его вдруг вызвали с урока в кабинет завуча. На столе лежала телефонная трубка. Он машинально взял ее:

— Да, я слушаю.

— Святослав Владимирович, голубчик,— узнал он голос Вериной директрисы,— вам нужно немедленно подъехать. С Верой Алексеевной плохо. Мы тут бьемся над ней уже целых полчаса.

— Что, что случилось?! — крикнул он, холодея от волнения.

— Приедете — тогда... Мы вас ждем.

— Что случилось?!!

Он еще не знал, в чем дело, но его уже начало бить, как в лихорадке.

На том конце провода он услышал далекие голоса, перешептывания, всхлипывания...

— Дело в том, голубчик... Не знаю, как и сказать вам. Дело в том, что Наденька умерла час тому назад.

Он не помнил, как бросил, а может быть, уронил трубку, как тупая тяжесть заполнила все его существо, как занемели кончики пальцев и испарина крупными каплями выступила на лбу и подбородке. В голове было пусто до звона — ни мыслей, ни чувств.

Потом он побежал к Вере. По дороге кто-то догнал его и помог надеть пальто и шапку.

Вера лежала на клеенчатой кушетке в кабинете школьного врача. Она уже пришла в себя, но молчала. Широко открытые глаза остро смотрели в белый потолок. Когда в дверях появился Святослав Владимирович, все, теснясь, поспешили выйти из комнаты.

Он опустился рядом с Верой на колени, прижался лбом к ее груди и вдруг всхлипнул по-мальчишески отчаянно и горько.

— Этого не может быть, этого не может быть! — дважды отчетливо повторила она.— Тут какая-то ошибка. Девочка совсем поправилась. Этого не может быть...

Увы, это была правда. Страшная в своей обнаженности, жестокая, единственная на свете правда. Ребенок умер от банального аппендицита, на девятый день после операции, когда температура была совершенно нормальной, когда девочка уже стала есть, пить, ходить, смеяться. Это было непостижимо, нелепо. Слова «легочная эмболия» и «редкий случай в таком возрасте» ничего ровным счетом не объясняли. Хотелось кого-то уличать, искать виноватого, но все вокруг только смущенно пожимали плечами.

У Святослава Владимировича больше не было его Нади, его Надежды. Как он любил это слово! Оно было его девизом, мистическим символом. Странное отупение долго не покидало его. Да что же это в конце концов? Бред! Нелепый, бессмысленный бред! А может быть, все это ему только приснилось? О, если бы так... Но могут ли человеку сниться такие кошмарные и нелепые сны?

— Это «голос моря»,— бормотал он.— Ее убил «голос моря»...

Окружающие смотрели на него с сочувствием, но ничего не могли понять.

Святослав Владимирович сник и постарел. Ему было только сорок лет, но виски его уже щедро высветила седина. Он больше не загорался, как спичка, при упоминании о Маскаренских островах, хотя негласно принятая им программа продолжала осуществляться как бы независимо от него, сама по себе. Это была великая сила инерции, когда маховик, раскручивавшийся годами, немыслимо было остановить вот так, вдруг.

Его, казалось, уже ничем нельзя было потрясти. Даже смерть собственной матери, до встречи с Верой единственного близкого человека, он воспринял скорее философски, чем эмоционально. Жалко, больно, тяжело, но естественно, даже если допустить, что другим удается прожить гораздо дольше.

Говорят, беда не ходит в одиночку. Вскоре тяжело заболел Григорий Кириллович. Он вымок на весельном баркасе, когда перед зимними штормами в колхозе убирали ставные невода. Его положили в больницу. Вере ничего не оставалось, как найти себе временную замену на работе и взять отпуск. За стариком нужно было ухаживать.

— Ты знаешь, может быть, даже не в этом дело,— сказала она перед отъездом.— Просто мне не хочется, чтобы в такую минуту он чувствовал себя заброшенным и одиноким.

А Святослав Владимирович подумал и о том, что поездка эта может самой Вере принести больше пользы, чем больному старику. Естественный инстинкт женщины, матери только теперь мог найти выход. Ведь за родной дочерью ей так и не пришлось ухаживать!

Однако Григория Кирилловича эта маленькая жертва не спасла. В семьдесят лет трудно бороться с такими тяжелыми недугами, особенно если болезнь запущена. А старик обратился за помощью, когда в общем-то было уже слишком поздно.

Его похоронили невдалеке от поселка, под горой, на том же маленьком кладбище, заросшем ежевикой, иглицей и колючим держидеревом, где нашла свое последнее пристанище Верина мать и где весной так звонко и беззаботно пели птицы.

6

В те дни Святославу Владимировичу начинало казаться, что судьба решила разом выплеснуть на него все беды, отмеренные человеку, пока он еще не вышел из этого спасительного состояния заторможенности, которое временно притупило все его чувства. Должна же когда-то кончиться полоса трагических потерь и отчаянного невезения! Разве не достаточно трех несчастий на один год? Но ему предстояло пройти еще через одно испытание: вскоре он заболел сам.

Началось с того, что у него без видимой причины стала мерзнуть и побаливать ступня левой раненой ноги. Сначала он старался не обращать на это внимания. В меньшей степени такое случалось и прежде. «Может быть, на погоду»,— думал он. Но Вера Алексеевна, узнав об этом, не на шутку встревожилась и заставила его показаться врачам. Хирург в районной поликлинике прописал какую-то вонючую мазь и согревающие компрессы, пообещав, что через неделю он сможет сдавать нормы на спортивный разряд по бегу.

Но нормы сдавать не пришлось. Временно притупившись, через месяц боль напомнила о себе с еще большей силой. По ночам он не находил себе места. Уснуть без электрической грелки и анальгина было невозможно. Пришлось брать бюллетень.

Однажды, вернувшись с работы домой и отворив калитку, Вера Алексеевна озадаченно покачала головой. Весь мощенный кирпичом тротуарчик от ворот до самого порога был уставлен обувью, словно перед входом в мечеть. Вера Алексеевна насчитала тридцать пар и сбилась. Несмотря на прохладную погоду — было только начало апреля,— посетители, боясь наследить, шли дальше в одних носках.

Выяснилось, что это шестиклассники пришли навестить своего учителя, невзирая на строжайший запрет директора школы. Святославу Владимировичу был предписан полный покой. В квартире, естественно, нельзя было протолкнуться. Те, кто вошли последними, так и застряли в дверях.

Святослав Владимирович развеселился даже:

— Это же, простите меня, как на выставке картин Дрезденской галереи, честное слово! Они не дадут умереть, даже если захочешь...

В конце месяца его положили в больницу. Ноющая боль, пронизывая все его существо, доводила до исступления. Кроме того, он отметил перемену в отношении врачей к себе. На обходах профессор подолгу разглядывал его ногу с почерневшим большим пальцем, мял икры и, диктуя очередную запись в историю болезни, пользовался настораживающими латинскими терминами.

Врачи пока что не говорили ему ничего определенного. Зато от соседей по палате можно было узнать немало любопытного. Некоторые из них так поднаторели в сосудистых заболеваниях, что приходилось удивляться, почему они до сих пор не начали лечить друг друга. В отделении было мало веселого. Здесь по преимуществу царствовал один хирургический инструмент — пила, и у Святослава Владимировича было достаточно оснований опасаться за свои пальцы.

Он лежал уже больше месяца. Он устал от боли, от бесконечных уколов и вливаний, приносивших недолгое и незначительное облегчение, от постоянного беспокойства за жену, которой приходилось метаться между школой, домом и больницей. Он заметил, как она выдохлась за последнее время. Вере все время казалось, что здесь недостаточно хорошо кормят. Она готовила дома и приносила обед в еще горячих судках, не подозревая, что еда уже давно не доставляет ему радости, и если он что-нибудь и ел, то скорее по необходимости, нежели из естественной для человека потребности в пище.

Среди соседей Святослава Владимировича особенно выделялся рыжий, как переспевший апельсин, парень, балагур и весельчак, страдающий язвенным колитом и по чистой случайности попавший в их палату. Из всех мировых проблем его по-настоящему волновала одна — счет в очередном футбольном матче. У него был маленький транзистор, и он, запрятав приемник под подушку, слушал по вечерам прямые репортажи со спортивного поля. Когда забивали гол, он подпрыгивал так, что стонала и всхлипывала кровать, таращил глаза, издавал нечленораздельные выкрики и хлопал в ладоши, не обращая ни на кого внимания. А поскольку спортивные материалы транслировались чуть ли не каждый день, житья от него не было.

— Слушай, чего ты мучаешься,— сказал он как-то Святославу Владимировичу,— просись на операцию. Ты что, сам не видишь, чем все это пахнет? Пусть режут к чертовой матери. По крайней мере снова человеком будешь.

— Что режут? — внутренне холодея, посмотрел на него Святослав Владимирович.

— Ногу, чего же еще! Твоя нога теперь и ломаного гроша не стоит. Это же сосу-у-уды, понимать надо! Ты учитель — проживешь и без ноги. Был бы футболистом — другое дело...

О чужой ноге парень рассуждал деловито и спокойно, как об изношенной детали какой-нибудь молотилки. Впрочем, и о своей собственной ноге этот человек говорил бы в том же тоне и с не меньшей решительностью.

— А разве врачи сами не знают, что и когда резать? — кривясь от боли, спросил Святослав Владимирович.

— Если б знали...

Вера Алексеевна заметила перемену в настроении мужа, хотя и не могла дознаться истинной причины. А он, щадя ее и не желая беспокоить без достаточных оснований, не говорил о своих опасениях. О предполагаемой ампутации ноги она узнала от врачей и тоже ничего не говорила ему, надеясь, что все еще может обойтись и гроза их минует. Так они таились друг от друга и, может быть, немножко от самих себя.

«За что же на нас обрушилось все это? — думала Вера Алексеевна.— Человек жив, пока он счастлив. Остальное не жизнь. А можно ли быть счастливой после всего, что было, и теперь, когда видишь страдания любимого человека? Сколько же я была счастлива? Всего десять—двенадцать лет, пока жива была Надюшка, пока мы оба были молоды и здоровы. Детство не в счет. Его попросту не существовало. Были голод, холод, война. Неужели же человеческий век так короток?..»

Но чаще она думала не о себе — она думала о Святославе Владимировиче, о его несбывшихся мечтах, о заложенной, но не построенной яхте, которой он так и не подыскал подходящего названия, и ею овладевало холодное отчаяние. Чтобы не выдать себя, она уходила из палаты в душевую, отсиживалась там, успокаивалась, приводила себя в порядок и только после этого возвращалась назад.

И тем не менее настал день, когда ему прямо сказали, что тянуть дальше нельзя, что необходимо ампутировать ногу выше колена и другого выхода нет. Он молчал, стиснув зубы, и видел, как Вера сквозь туманную пелену слез ободряюще улыбается ему. Он не мог не оценить этого, но сейчас больше думал о том, что с ампутацией исчезнет боль, прекратятся страдания, которые полностью парализовали его волю, его стремление к жизни.

Операцию делали под наркозом, и, когда Святослава Владимировича привезли в палату и он открыл глаза, то первое, что увидел сквозь замутненное сознание, было рыжее, как солнце, лицо его неунывающего соседа с язвенным колитом. Тот улыбался до ушей и, отставив большой палец, тыкал им в самый нос Святославу Владимировичу и почему-то кричал:

— Во-о! Вот так прошла операция. Я же говорил! Теперь все будет вот так...

Он явно не надеялся, что Святослав Владимирович его услышит. Но тот все слышал. Только мысли его, еще скованные наркозом, ворочались тяжело и неуклюже. Он уже понимал, что все лошади и мосты сожжены. Боли, к которой он уже успел привыкнуть, но смириться с которой невозможно, сейчас не было. А главное, он не чувствовал, что у него нет ноги. Даже на секунду мелькнуло в сознании: а вдруг обошлось, вдруг передумали, пощадили, бывают же чудеса! Но он тут же отбросил эту нелепую мысль, потому что, несмотря ни на что, всегда оставался реалистом и хвататься за призрачный спасательный круг считал недостойным мужчины. Он слышал или, может быть, читал где-то, что люди с ампутированными ногами всегда начинают с того, что ощупывают пустое место под одеялом. Сейчас ему не хотелось быть похожим на остальных, и поэтому он лежал неподвижно, стараясь не думать о потерянной ноге, о боли, которая еще, возможно, придет, хотя бы ненадолго.

Потом был вечер и тишина в палате. Одуряющий запах эфира повыгонял оттуда всех, кто мог передвигаться. Но зато пришла Вера. Она сидела рядом, не зажигая света, и молча гладила его руку. Ей показалось, будто он хочет что-то сказать, и она наклонилась к нему.

— Я люблю тебя,— почти беззвучно, одними губами проговорил он.— Я люблю тебя, Вера.

Она явственно ощутила, как теплая волна прилила к ее щекам и слезы, добрые слезы любви и благодарности к мужу скрыли от нее родное и в то же время незнакомое лицо.

Через два дня Вера принесла ему «Этюды оптимизма» Мечникова.

— Почитай, милый. Это, по-моему, именно то, что тебе сейчас нужно.

Он взял книгу без особого интереса, так, лишь бы сделать ей приятное, потому что читать сейчас ему хотелось меньше всего. Но постепенно, листая страницу за страницей, он увлекся, находя там мысли, созвучные его настроению. Вера попала в цель: суровая правда была для него лучше всякого утешения. Он удивился тому, что многие наблюдения автора и ему в свое время приходили на ум, но как-то не задерживались в памяти, потому что тогда это мало касалось его.

И он когда-то отмечал про себя такое удивительное явление, своеобразный парадокс: пессимизм свойствен молодым людям, едва вступающим в жизнь, значительно чаще, чем старикам. И, напротив, неприятие смерти, жажда жизни в пожилом возрасте развиты гораздо острее, видимо, потому, что на склоне лет человек успевает накопить опыт, познать истинную цену жизни, чего не скажешь о неоперившемся птенце, полном неуверенности, сомнений и скептицизма.

В этот день у него было много посетителей: коллеги по школе, старшеклассники, ребята из его седьмого класса, где он был классным руководителем, и Святослав Владимирович устал. Соседи по палате принесли в рукаве зажженную сигарету, и он вопреки существующим в больнице порядкам впервые после операции несколько раз затянулся. Потом они проветрили комнату, задернули штору, чтобы солнце не било ему в глаза, и вышли в коридор.

Он лежал на спине, усталый, растроганный вниманием друзей, без боли, не ощущая ничего, кроме легкости в теле. На улице был яркий, благостный день начала мая, и он рождал в душе Святослава Владимировича какое-то просветленное состояние. «Что это,— думал он,— оптимизм обреченного или предчувствие обновления жизни?»

— Может быть, я еще и поплыву когда-нибудь,— шепнул он вечером Вере. Сказал в шутку, а сам пристально всматривался в ее лицо, пытаясь уловить по выражению глаз, по невольному движению губ ее истинное отношение к этим безумным мыслям.

И он был вознагражден за свое доверие к ней, потому что не смог заметить и следов сомнения в ее взгляде.

— Я знаю, это тебя не удержит,— серьезно ответила она.— Ты всегда был настоящим мужчиной.

Он молча теребил край пододеяльника, глядя в одну точку.

— О чем ты задумался? — минуту спустя спросила она.— Тебя что-нибудь беспокоит?

— Эта кровля над стапелем... Там все сделано на соплях. Хороший ветер — и от рубероида останутся одни клочья. Сырость и солнце — нет ничего хуже. Они способны погубить все дело...

«Боже мой! — пронеслось у нее в сознании.— Как он может сейчас думать об этом?»

— Все будет хорошо, милый, вот увидишь.

— А что, ты помнишь одноногого капитана Ахава у Мелвилла? — внезапно оживился он.— Ты помнишь, с каким яростным упорством он преследовал белого кита по всем океанам мира?

— К сожалению, я не читала «Моби Дика». Но этот твой капитан, наверное, никогда не терял из виду своей цели. Может быть, это и есть самое главное?

— Может быть, может быть. Во всяком случае, со мной что-то произошло, словно я сбросил с себя неимоверно тяжелый груз. Это как искупление грехов, как очищение. Есть такое греческое слово — катарсис. Именно это оно и означает. Если мне не изменяет память, дословно это слово переводится как омовение. Омовение...— задумчиво повторил он.— Любопытно, чем? Слезами? Кровью?

— Да-да, милый, пусть это поможет тебе, вселит надежду. И ты поплывешь к своим островам...

— Как там у Лонгфелло?

..К островам Блаженных — в царство
Бесконечной, вечной жизни!

— Ну-ну, не сердись, я ведь пошутил. Смешно,— усмехнулся он.— Маврикий, Реюньон, Родригес — всего три острова. Самый большой — семьдесят пять километров в длину, а в ширину и того меньше. Почему же меня так тянет туда? Может быть, это попытка совершить путешествие не к Маскаренским островам, а, как теперь говорят, в страну далекого детства?

— Ты знаешь,— сказала Вера,— по-моему, сейчас как раз тот нечастый случай, когда все эти самоанализы ни к чему. Ты просто живи, как подсказывает тебе сердце.

7

Святославу Владимировичу дали на год инвалидность, и в конце мая они с женой уехали в Якорный, поселившись в пустующем доме. Ходить на костылях он научился довольно быстро, говорить же сейчас о протезе было рановато. Теперь его стол снова был завален книгами и чертежами, а пепельница не вмещала окурков.

В последние годы все больше людей рисковало пускаться в одиночку на небольших парусных суденышках, откровенно бросая вызов то ли величию Мирового океана, то ли скучной благоустроенности современного быта. Специальные журналы печатали технические данные, а иногда и чертежи этих парусников, разбирая недостатки и сильные стороны их конструкций. Святослав Владимирович отлично знал, что мореходные качества яхты, ее остойчивость, ходкость и поворотливость находятся в строгой зависимости между собой. При желании у любой яхты одно качество можно было изменить за счет другого. Все это открывало простор для творчества.

Вообще же его интересовало все, что было связано с морем. В те дни он много читал и размышлял над прочитанным. Видимо, так уж устроен человек, что всякая неразгаданная тайна, а тем более окруженная романтическим ореолом, приковывает к себе внимание. Особенно в наши дни.

А в море нередко происходят вещи, которым до сих пор не дано сколько-нибудь серьезного объяснения. Одна из неразгаданных тайн океана — бесследное исчезновение экипажей вполне исправных судов в таких районах, где не отмечалось никаких штормов. Подобная участь постигла команды трехсоттонного парусника «Сибёрд», британского корабля «Дэмфришайр», американского брига «Мэри Сэлист», немецкого барка «Фрейя» и многих других. Ни одно из них не было хоть сколько-нибудь повреждено. И в пятьдесят пятом году в Тихом океане встретили брошенный экипажем пароход «Джайта». Спасательные средства остались нетронутыми, о судьбе моряков и поныне ничего не известно.

Все эти случаи давно уже причислены к разряду хрестоматийных. А вот о странной гибели моряков-одиночек известно не много. Непостижимым образом исчезли со своих яхт участник все той же «гонки столетия» Дональд Клоухерст и направлявшийся в одиночку на «Вагебоне» из Англии в Австралию Питер Уоллин. В те дни в Атлантике у 35-й параллели всего за полмесяца было замечено пять парусников с бесследно исчезнувшими обитателями. Годом поз-

же две покинутые яхты нашли в районе Азорских островов. На их борту были запасы продовольствия, пресная вода и спасательное снаряжение. И опять никаких следов борьбы, грабежа или аварии.

Сколько их, этих призраков моря, начиная с пресловутого «Летучего голландца» и кончая мертвым пароходом «Дзнмор», уже успевшим превратиться в легенду, до сих пор бороздит воды океанов! Здесь было над чем поломать голову...

Однажды Вера Алексеевна пришла домой немного взволнованная.

— Ты знаешь,— сказала она прямо с порога,— у меня две любопытные новости для тебя. Во-первых, директор здешней начальной школы предлагает мне место.

— А во-вторых? — спросил Святослав Владимирович, откладывая в сторону карандаш.

— Ты не доволен? — Она подошла к нему и, откинув его голову, заглянула в глаза.

— Отчего же! Просто все зто слишком неожиданно. Раз ты надумала прочно устраиваться здесь, значит, считаешь, что вернуться на работу мне уже, как говорится, не светиг. Так надо понимать?

— Ну что ты, милый, что ты...— Вера прижалась щекой к его лбу.— Просто мне хочется помочь тебе довести дело со шлюпом до конца. Я вот сегодня узнала — кстати, зто вторая новость,— что здесь собираются резать на металлолом старый сейнер. Там кое-чем можно разжиться. Я уже успела посмотреть. Иллюминаторами, например. Они прямо как новенькие. Сантиметров двадцать пять в диаметре. Как раз что надо. Говорила с главным инженером в колхозе. Мне показалось, он сочувствует нам. Он даже сказал, что может устроить для тебя новый якорь или даже два. По-моему, верпом называется. Есть такой, я не перепутала?

— Есть, мой дорогой корабел. Им пользуются для стаскивания судов с мели. Но нам он будет в самый раз. Хотя бы потому, что якорь зтот вдвое легче стоп-анкера, не говоря уже о главном якоре, которому подавай машину. Голыми руками его не возьмешь. А тебе зтот инженер не сказал, между прочим,— усмехнулся он,— что якорь — зто символ разбитых надежд?

— Не думала я, что и ты когда-нибудь скиснешь,— с горечью вырвалось у нее.

— Отнюдь. Я просто упражняюсь в остроумии.

— А помнишь, ты говорил: человек, отказавшийся от своей мечты, отказывается от самого себя?

— Действительно, говорил, хотя зто и не мои слова. А в общем, все справедливо: пока волчок вертится, он не падает.

— К сожалению, зто все, что я могла сделать,— подвела итог Вера Алексеевна. Она отодвинула в сторону чертежи — до чего же хорошо она знала их! — и присела напротив, подперев рукой щеку.

— Прости меня,— сказал он смущенно.— Ты великая женщина. Мне никогда не следует зтого забывать. Я уверен, что нашу яхту ты представляешь себе не хуже меня по одним только чертежам.

— Еще бы! — засмеялась она.— Между прочим, мне кажется, что давно пора уже придумать для нее подходящее название. А то процесс зтот, честно говоря, здорово затянулся.

Он серьезно посмотрел ей в глаза и опустил голову. Вера заметила, как на его худой руке с набрякшими венами, которая покоилась на столе, резко напряглись пальцы и медленно сжались в кулак.

— Видишь ли,— проговорил он, слегка покусывая нижнюю губу,— название для нашей яхты уже давно есть.

— И ты до сих пор молчал? — Она взъерошила его прямые длинные волосы.

— Видишь ли... зто не так просто. Я не хотел... Ты все поймешь. Она будет называться «Надежда».

Вера Алексеевна зябко передернула плечами.

— Это ты славно придумал,— сказала она, слегка бледнея.— Очень славно.

Все, что он скажет, она знала заранее, и тем не менее слова мужа глубоко тронули ее.

А в конце лета произошло событие, которое очень взволновало Святослава Владимировича. К нему в гости заехал его ученик Сережа Русев, окончивший десятый класс года три тому назад. Сейчас он дослуживал действительную на одном из вспомогательных судов Военно-Морского Флота. Корабль недавно вернулся из большого похода, и теперь его поставили в док на ремонт, а Сережке дали двухнедельный отпуск.

Он сидел напротив своего учителя, бронзоволицый, с крепкой, почерневшей от загара шеей. Раздавшиеся плечи так и распирали синюю фланелевую форменку.

— Много повидал, наверно? — похлопывая парня по плечу, сказал Святослав Владимирович.— Небось, исходил полсвета, а?

— Да, приходилось,— явно смущаясь, неопределенно отвечал Сережка. Ему трудно было отвести взгляд от костылей, прислоненных к столу, хотя он и делал над собой усилие.— Вот недавно вернулись из Индийского океана. Заходили на Маврикий, брали пресную воду в Порт-Луи.

Святослав Владимирович так и подался вперед: перед ним был первый знакомый человек, побывавший на Маскаренах. Даже Вера Алексеевна, возившаяся на кухне, появилась на пороге, взволнованная услышанным.

— Ну и как? — выдохнул наконец Святослав Владимирович.— Рассказывай, что ты там видел!

Сережка достал из кармана свернутый в несколько раз, изрядно потертый газетный лист.

— Это вам, на память,— сказал он небрежно, буквально вспотев от гордости и сознания собственного великодушия — тамошняя газета. Вот видите, наши ребята на фотографии, вот зто я в темных очках, а зто... Вы что, не узнаете?

Святослав Владимирович разглядывал молодую на вид женщину в окружении наших военных моряков. Она была довольно привлекательна, хотя лицо ее и показалось ему несколько более широким в скулах, чем следовало. Разделенные на прямой пробор и подобранные на затылке густые темные волосы, ямочка на подбородке, белозубая улыбка, целая гирлянда из тонких, видимо, недорогих бус на смуглой шее и легкая открытая блузка с рукавами, полы которой были завязаны толстым узлом под грудью. Что-то неуловимо знакомое почудилось ему в ее облике. Но кто она, где он мог ее видеть?

— Так и не узнали? — улыбнулся Сережка с некоторым оттенком снисходительности.

— Черт его знает,— неуверенно протянул учитель.— Вроде бы где-то и видел...

— А вы повнимательнее, Святослав Владимирович, ну же! — подбадривал его гость.— Эх вы! Это же Брижитт Бардо!

— Вон оно что,— поднял брови учитель.— Выходит, и ты приобщился к европейской цивилизации. Поздравляю, брат, поздравляю!

Сережка сбегал на терраску, где оставил свою бескозырку, и вынес оттуда нечто изящное матово-белое, затейливо-резное, в чем хозяин без труда узнал великолепный сросток кораллов, целый маленький куст. Когда Сергей пощелкал по нему ногтем, он издал глуховатый фаянсовый звон.

— Это тоже вам,— сказал он уже совсем просто,— на память об Индийском океане.

— Ну, брат, вот за это особое спасибо.

— Там у пирсов ими торгуют туземные пацаны, такие смешные, цвета жареного кофе, только зубы и белки глаз сверкают.— Он чувствовал, что наконец-то угодил учителю, и ему стало легко и весело.

— Скажи, Сережка, только честно, как на духу,— наклонился к нему Святослав Владимирович,— тебе там очень понравилось? Это действительно прекрасные острова?

— Это надо видеть... Чайные плантации, как стада зеленых овец на склонах.— Ему так понравилось это сравнение, что он слегка покраснел от удовольствия.

— Зеленых? — по-доброму улыбнулся Святослав Владимирович.

— Ну да. А гигантские морские черепахи,— он оглядел комнату,— величиной, ну вот с этот стол, честное слово! Может, даже и больше.

— Говорите, говорите, Сережа! — кивнула ему Вера Алексеевна.— И Святославу Влвдимировичу и мне это действительно интересно.

Но парень и сам видел, как пристрастно ловил каждое его слово учитель, и это еще больше подхлестнуло его.

— Прекрасная земля! — добавил он.— Если бы мне сказали, что там могут умирать люди, я бы, наверное, никогда не поверил...

...В принципе можно было бы считать, что жизнь Святослава Владимировича складывалась после операции неплохо, шла «по восходящей, как говорил он сам, если бы не опасение за вторую ногу. По словам врачей, ампутация не избавляла его от болезни, а лишь ликвидировала опасный болевой очаг, угрожавший жизни. Поэтому естественно, что он, хотя и не был по природе мнительным человеком, не мог не прислушиваться ко всякому покалыванию в голени, к случайной судороге, к усталости мышц, не думать, что вот это, наверное, оно и есть и нечто похожее было уже когда-то с его левой ногой. Но проходило время, тревога оказывалась напрасной, и он вздыхал с облегчением до очередного приступа сомнения и подозрительности к самому себе.

Но однажды, примерно месяцев через десять после того, как они с Верой поселились в Якорном, он почувствовал настоящую, «ту самую» боль в теперь уже единственной, правой ноге. У него даже пот выступил на лбу. Не от боли — от ужаса.

Где-то в глубине души он надеялся, что боль больше не повторится. Но она повторилась, хотя и не в такой степени. Однако для него теперь и этого было достаточно, чтобы окончательно решить для себя: скрывать дальше нельзя, надо что-то предпринимать немедленно.

Правда, Вере он не сказвл о приступах боли, просто сделал вид, что хочет проконсультироваться у специалистов, тем более, что еще накануне Нового года один из его бывших учеников, Роман Анохин, прислал письмо из Москвы, в котором вместе с поздравлением приглашал его к себе в клинику хирургии сосудов. С позапрошлого года он работал там ассистентом. Клиника была молодая, и сразу же после защиты кандидатской диссертации его взяли туда как подающего надежды специалиста. Роман сожалел о том, что поздно узнал о болезни Святослава Владимировича.

«Хирургия сосудов — наука молодая,— писал он,— но кто знает, может быть, именно ей принадлежит большое будущее. Во всяком случае, все самые значительные силы в этой области сосредоточены у нас, и попади вы к нам раньше, возможно, исход оказался бы более благоприятным».

8

Святославу Владимировичу повезло: пятнадцать бывших учеников теперь работали в Москве. Через одного из них, занимавшего довольно ответственный пост в нефтяном главке, ему удалось забронировать номер в гостинице «Пекин» на площади Маяковского. Гостиница устраивала его главным образом из-за своего расположения. Станция метро, остановка троллейбуса, такси — все под боком.

Номер оказался слишком большим, с высокими лепными потолками, громоздкой и не очень удобной мебелью и двумя кроватями, упрятанными в подобие алькова, отгороженного зеленой портьерой от остального помещения. Огромное окно выходило на Садовое кольцо, где подземный туннель пересекает улицу Горького, и от гула вырывающихся оттуда машин в окнах всю ночь дребезжали стекла.

Святослав Владимирович и Вера Алексеевна не успели расположиться и разобрать вещи, как затрещал телефон. Звонил Миша Башкирцев, теперь уже капитан второго ранга, работающий в Министерстве обороны. Миша предупреждал, что завтра вечером все ребята, «весь наш клан» — так он сказал,— нанесут им неофициальный дружеский визит. Приходилось поражаться, как четко у них поставлена служба оповещения.

— Крепитесь и будьте фаталистами,— посоветовал Миша,— от этого вам все равно никуда не деться.

На другой день удивленные горничные и дежурная были свидетелями невиданного паломничества в номер на втором этаже. Еще с обеда Колька Крутилин, подчеркнуто грубоватый, хотя все великолепно знали, что за этой грубоватостью скрывается одинокий и легкоранимый человек, договорился внизу о банкетном зале и внес соответствующий аванс за предстоящий ужин. Делалось это втайне от Святослава Владимировича и его жены. Николай часто бывал в командировках и поддерживал постоянную связь с остальными выпускниками, которых судьба разметала по всей стране. Без него не обходились ни похороны, ни крестины, ни разводы, ни свадьбы, как никто из ребят, живших в столице, не обходился в дни болезни без помощи Романа Анохина. Колька был тем цементирующим составом, который из разрозненных блоков мог создавать единое, монолитное сооружение.

Когда вечером они один за другим стали стекаться в номер Святослава Владимировича, многие вместе со своими женами и мужьями, в просторной комнате сразу стало тесно. В вестибюле и в лифте это были еще солидные, степенные люди, но едва они успевали перешагнуть порог, как тут же преображались. В присутствии учителя они выглядели, а возможно, и действительно казались себе этакими сорвиголовами, мальчишками и девчонками, выпущенными на большую перемену.

Правда, входили в комнату они довольно чинно, большинство с цветами для Веры Алексеевны, целовали ей руку. Однако Колька Крутилин тут же разрушил эту благопристойную обстановку. Сейчас он выступал в роли герольда при дворе средневекового европейского феодала, громогласно объявляя о прибытии гостей.

— Марат Бахрамов,— торжественно провозглашал он,— подпольная кличка Машка. Ныне заведующий проблемной лабораторией глубинного бурения. Коллектив под его руководством работает под девизом «Задерем мантию!» Земли, разумеется...



Едва успевал утихнуть шум взаимных приветствий, как от дверей снова слышалось:

— Леонид Старцев, по прозвищу Аристотель. С женой Ириной. Оба работают в ящике. Сыграли в ящик шесть лет тому назад... Сейчас в Москве проездом на курорт.

Весь стол был завален цветами и сувенирами. Среди других сувениров на столе Святослава Владимировича лежала долгоиграющая пластинка с автографом певца Рафаэля Багирова — мужа Симочки Овчаренко, милой, прямодушной, принципиальной девчонки, у которой теперь было уже двое детей. На пластинке Рафаэль написал: «Святославу Владимировичу с искренним сожалением, что не удостоился чести быть его учеником».

У Кольки Крутилина ничего не оказалось, чтобы оставить на память. Весь день он был в бегах, организуя банкет. Только случайно, как он сказал, в кармане пальто обнаружил тюбик «Поморина». Не задумываясь, он тут же написал: «Моему любимому учителю. Почистить зубы, когда исполнится 85 лет».

Это вызвало дружный смех. Святослав Владимирович так и не понял, чем, собственно, он вызван.

— Эх, Святослав Владимирович, вы все на свете забыли! — вытирая кулаком слезы на худощавом аскетическом лице, заметил Володя Саенко.— Разве не помните, как он слопал на спор вашу зубную пасту, когда мы были в шлюпочном походе и во время шторма отсиживались там, на косе? Тогда ведь мы подъели все подчистую...

Потом был стол с невероятным количеством совершенно экзотических китайских блюд и вполне русских горячительных напитков. Помянули друзей, которые не дошли до этого дня. Были среди них один геолог, летчик и просто инженер парфюмерной фабрики.

И были тосты. Вера Алексеевна, человек крепкий, закаленный жизнью, все же не выдержала. Она откровенно заплакала от благодарности к этим ребятам и от гордости за мужа.

— Дайте слово Вадиму Покровскому! — кричал Козлов. — Он всегда любил говорить красиво.

— От слова я не отказываюсь и, кстати, хочу напомнить кое-кому, что говорить красиво — это все-таки лучше, чем не уметь говорить совсем. Я действительно приготовил тут маленький тост, если хотите, обращение.— И Вадим поправил привычным движением очки в толстой оправе.— Дорогой Святослав Владимирович, мы собрались здесь еще и для того, чтобы отчитаться перед вами за те годы, что прожили без школы, без учителей, без вас. Один из ваших учеников бурит самую глубокую скважину в мире, двое причастны к тому, что в небо уходят космические корабли, мы охраняем покой Родины, испытываем самолеты и лечим людей. Мы кое-чего достигли, конечно. Но клянусь вам, что это не только наша заслуга. Не отмахивайтесь и не хмурьте брови. Вы воспитали нас романтиками, и мы гордимся этим. Вашу окрыленность и страсть к движению мы принесли с собой в науку, в работу и в жизнь. Это и объясняет, наверное, почему мы именно такие, как есть и почему мы не можем расстаться друг с другом.

— Послушайте, я протестую! — возвысил голос Святослав Владимирович.— Сегодня не мой юбилей и тем более не мои похороны. К чему все эти высокие слова? И потом я совсем не уверен, что был приличным учителем.

— Не мешайте говорить, вам дадут слово!

— Чудаки, я просто зарабатывал на хлеб. У меня были другие цели.

— Пусть все зарабатывают его так же, как зарабатывали вы. И на земле будет полный порядок. Такие, как вы, не коротают время, не проходят через жизнь, а проносятся через нее хвостатой кометой, стремительным болидом, оставляющим за собой огненный шлейф, рассыпающим вокруг себя мириады искр. И пусть он не долетит до земли, сгорит дотла, по пути разметав частицы небесной материи. Подумайте, скольких людей вы осыпали золотыми искрами добра и разума, тех непреходящих ценностей, к которым так склонна душа человеческая.

В конце вечера, когда ресторан уже закрывался, к Святославу Владимировичу подошли четверо ребят: Миша Башкирцев, Сергей Трофимов, приехавший из Ленинграда, где после окончания кораблестроительного института трудился на Балтийском заводе, Виктор Дементьев — штурман гражданской авиации, и Володя Саенко, работавший в Центральном комитете ДОСААФ.

— Тут мальчики стесняются признаться вам кое в чем,— сказал Миша. Он был неотразим в морской форме капитана второго ранга, невысокий, атлетически сложенный, с аккуратной русой бородкой и удивительно теплыми голубыми глазами.— Дельце уж больно деликатное.

— Ну что ж, выкладывайте,— согласился Святослав Владимирович.

— Если разрешите, мы на минутку зайдем к вам в номер, когда все закончится,— сказал Сережа.— Вопрос, как говорится, сугубо конфиденциальный.

— Отчего же, милости просим! Можно было бы и без такого пространного вступления.

Прощались в вестибюле долго и шумно. С Романом договорились созвониться на следующий вечер.

С тяжелым сердцем наблюдали ребята, как их бывший учитель уходил от них, опираясь на новенькие костыли, ссутулившись больше обычного, в своем строгом, темном костюме, сшитом не по последней моде. Когда дверь лифта закрылась за ним и теми, кто шел провожать его, все, не сговариваясь, перевели вопрошающий взгляд на Романа Анохина...

По дороге Вера Алексеевна попросила:

— Через пять дней мне уезжать. Меня ведь отпустили только на весенние каникулы. Поселок — не город, заменить меня некем. Так что вы уж тут не забывайте Святослава Владимировича, когда его положат в больницу.

— О чем вы, Вера Алексеевна? — улыбнулся Саенко.— Вы же знаете, с нами не соскучишься.

Стараясь не шуметь, они прошли по длинному коридору. Ковровая дорожка заглушала стук костылей.

— Вы догадываетесь, наверное,— начал Сергей, когда они вошли в номер,— что ваша голубая мечта о плавании в одиночку через океан никогда не была для нас секретом, хотя вы и прикладывали к этому немалые усилия.

Святослав Владимирович сделал рукой неопределенный жест, который мог означать и смущение и растерянность, и шумно сел на жесткий плюшевый диван с прямой спинкой.

— Если быть до конца точным,— заговорил он медленно, с трудом подбирая слова,— то никакой тайны из этого я не делал, хотя и не спешил с рекламой — боялся показаться смешным. И плыть через океан никогда и не думал. Я ставил перед собой более скромную цель. Она ограничивалась Маврикием в группе Маскаренских островов.

— Действительно, скромно, но со вкусом,— не удержался от ехидного замечания Володька Саенко, задним числом задетый за живое скрытностью своего учителя.

— Меня это устраивало,— серьезно ответил Святослав Владимирович.— Но поскольку я знаю вас как облупленных, то превосходно вижу, что начали

вы совсем не с того, и все это, так сказать, преамбула. Поэтому не крутитесь, как караси на сковородке, и выкладывайте нам с Верой Алексеевной все начистоту.

Миша засмеялся, а Саенко потупил взгляд в притворном смущении. Продолжать пришлось Виктору Дементьеву.

— Святослав Владимирович, только честно, как в прежние годы.— Он и раньше не терялся, разговаривая с учителями, а теперь, когда за плечами были годы работы в полярной авиации, и посадки на льдины, и многое другое, продолжать разговор ему было проще.— Вы наш учитель, вы создали нас по своему образу и подобию, поэтому пусть разговор этот не покажется вам странным или неожиданным.

— Короче,— нетерпеливо бросил Трофимов.

— Мы тут тоже затеяли нечто подобное...

— Что именно? — встрепенулся Святослав Владимирович.

— Мы решили совершить переход, правда, не в одиночку, а втроем, на своей яхте, маленьком тендере, из Новороссийска во Владивосток.

— Кстати, с заходом на Маскарены,— как-то неестественно заторопился Саенко.— Вы понимаете, почему мы не идем прямо в Коломбо? Такой маршрут длиннее, зато у нас есть возможность использовать узкую полоску экваториального противотечения...

— Что же, это серьезно.— Святослав Владимирович застучал по столу длинным согнутым пальцем. В наступившей тишине этот стук звучал прерывисто и однообразно, как радиосигнал о бедствии.— Это действительно очень серьезно,— повторил он и потянулся за сигаретой.

— Но мы не хотели бы, мы не имели в виду составлять вам конкуренцию.

— Ну и дураки вы все-таки,— покачал головой Святослав Владимирович.— Какие же вы дураки! О какой конкуренции может идти речь? Никто не помышлял о рекордах, тем более, что они уже давно поставлены. Я даже не знаю, что это у меня. Может быть, желание выполнить долг перед самим собой, а может быть, что-то еще... Но при чем же тут конкуренция? Я просто рад за вас, вот и все. Чертовски рад!

— Странные вы, мальчики, честное слово! — печально улыбнулась Вера Алексеевна.— Значит, вы так до сих пор и не знали по-настоящему своего учителя?

— Нам нужна ваша помощь,— признался Трофимов.

— Им действительно нужна помощь,— подтвердил Миша Башкирцев.— Это я заявляю, так сказать, официально, как профессиональный моряк. Именно ваша помощь, Святослав Владимирович.

— Ну что же, раскрывайте карты до конца.

Морщинки на лбу учителя разгладились, и глаза молодо сверкнули, как прежде на уроках физической географии, когда он рассказывал о тропических муссонах и коралловых атоллах южных морей.

— Экипаж — три человека,— сказал Володя Саенко, для чего-то вытаскивая из внутреннего кармана пиджака авторучку.— Сергей — капитан, Витька — штурман, в конце концов это его профессия, ну а я все остальное.

Вера Алексеевна рассмеялась.

— Нас поддерживают в ЦК комсомола и в ДОСААФе. Вопрос с формальностями не отнимет много времени. Мы пойдем под флагом молодежной газеты, а это говорит само за себя. Сережкин завод пообещал шефскую помощь во время строительства.

— А средства? — сухо, по-деловому спросил Святослав Владимирович.

— Самый богатый из нас Виктор, он ведь восемь лет летал в Арктике. Сережка тоже сумел за эти годы сбить капиталец. Один я наг и бос, зато у меня есть машина — правда, не первой свежести,— которую я бросаю на жертвенный камень. Так что денег мы наскребем.

— Где будете строить? В Ленинграде у Сергея?

— В Новороссийске,— ответил Саенко.— Сейчас там мои старики. Мы надеемся построить яхту за шесть месяцев.

— Полгода?.. Времени маловато, даже если учесть ваши обширные связи и возможности.

— У нас у всех неиспользованные отпуска за прошлый год и, кроме того, нас обещают отпустить без содержания по такому серьезному поводу. Летом ребята приедут, помогут. Вот и Миша обещает в отпуск. Мы ведь почти все прошли через вашу школу, особенно Сережка. Но, видимо, придется еще и рабочих нанимать со шлюпочной верфи.

— Сейчас все упирается в проект и в смету,— вставил Сергей.— Хоть я сам и кораблестроитель, но помощь ваша, совет нам просто необходимы. У вас опыт, так сказать, в поиске оптимального варианта.

— Ну, хорошо,— усмехнулся Святослав Владимирович,— а почему все-таки тендер? Почему не шлюп?

— Нужна площадь парусности, нужен ход,— возразил Трофимов.

— Сложная оснастка не прибавит и узла в скорости. Зато у вас получаются два лишних паруса. Зачем это вам? Чтобы создать себе лишнюю работу, когда времени и без того в обрез, или чтобы усложнить управление яхтой?

— Вот об этом мы и хотели поговорить.

— Я строю шлюп,— сказал Святослав Владимирович.— Там все просто. Вооружение гафельное, удобное и в управлении и в ремонте. За основу я взял оснастку яхты «Курун» француза Жака-Ива ле Тумелена. Только вместо тридцати восьми метров площади грота я оставил тридцать четыре, укоротив мачту. Это должно улучшить остойчивость и помочь точнее выдерживать курс при закрепленном руле. Кливер большой, около пятнадцати метров, и почти такой же стаксель. Без малого шестьдесят пять квадратов при одной мачте и трех парусах — это не так уж плохо.

— А поплавок? — спросил Сергей.

— Из толстой водостойкой фанеры. Длина десять с хвостиком. В фальшкиле три тонны свинца. Конструкцию я вымучил сам, хотя что-то в ней есть и от знаменитого «Спрея» и что-то от "Грейт Вестерна». Только те, разумеется, поменьше. Яхту я назвал «Надеждой», теперь, к сожалению, неосуществившейся...

— Напрасно вы так,— серьезно сказал Миша.— Вспомните беспалого моряка Блекберна. Ни одного пальца на обеих руках и фактически без одной ступни. А человек дважды пересек Атлантику. Если же говорить о возрасте, то до Уильяма Уиллиса вам надо еще пыхтеть двадцать три года, а до сэра Френсиса Чичестера — восемнадцать. Как видите, мы тоже кое-что смыслим в статистике. Вот наладится со здоровьем, и вы еще скажете свое слово.

— Спасибо за доверие,— поднял на него повеселевшие и чуточку насмешливые глаза Святослав Владимирович.— А может быть, ребята, вы возьмете мой готовый набор? Это сократит вам уйму времени.

— Прошу прощения, за кого вы нас принимаете?— сказал Сергей.— Это ваша «Надежда», и в море на ней можете выйти только вы. Мы, конечно, могли бы вас взять с собой на любых условиях, на любую должность, но Роман сказал, что в ближайшие годполтора вам это категорически противопоказано.

— Он так и сказал — год-полтора? — поднял брови учитель.

— Он сказал: все покажет обследование.

— А я нашел новый способ крепления стрингеров на малых судах,— вздохнул Святослав Владимирович.— Простой, дешевый и надежный способ.

— Мы будем работать так близко от вас, что наверняка успеем надоесть.

— Надоесть? Я надеюсь, вы это не серьезно,— сказала Вера Алексеевна.— Бывает так славно, когда кто-нибудь навещает нас.

— Об этом мы предоставим судить вам, дорогая Вера Алексеевна, не сейчас, а в конце срока.

— Ну, хорошо, а как обстоят дела с лоциями? — спросил Святослав Владимирович, аккуратно стряхивая пепел с сигареты в пустой спичечный коробок.

— Это еще предстоит,— ответил Сергей.

— А что лоции? — пожал плечами Виктор.— У нас карты, приборы...

— Это несерьезно,— покачал головой учитель,— тем более, когда слышишь такие слова от профессионального штурмана. Море не небо, дорогой Витя, и корабли не ходят одновременно в нескольких эшелонах. Моряки живут только в двух измерениях. В этом их основное отличие от авиаторов. Ну, что вам известно, например, о Босфоре?

— Ну, ширина, ну, длина, ну, пропускная способность... Есть специальные справочники. Как есть таблицы магнитного и солнечного склонения, чтобы не держать это все в памяти.

— А вам известно, что в этом проливе существуют особые правила судоходства, что там, говоря сухопутным языком, принято левостороннее движение?

К словам Святослава Владимировича Виктор проявил заметный интерес:

— Это почему же?

— Все просто: суда, идущие из Черного моря в Средиземное, должны прижиматься к азиатскому берегу, чтобы попасть в струю мощного попутного течения, а встречные, наоборот, вынуждены искать защиты от него у крутых мысов Европы. Как видите, все очень логично.

— Это шутки, конечно,— махнул рукой Трофимов.— Лоции мы изучать будем. От них никуда не денешься.

— То-то. Иначе я и копейки на вас не поставлю. Ведь даже тут, рядом, на подходе к Босфору можно влипнуть в историю. Там самая настоящая ловушка. Северо-западнее входа в пролив существует другой, ложный, который нередко сбивает с толку таких вот самоуверенных штурманов. А это уже приводило к кораблекрушениям. Так что читайте лоции. В этих книгах много суровой поэзии. И все в них правда.

Когда ребята ушли, договорившись о следующей встрече, Святослав Владимирович сказал:

— Грустная картина. Вот так, оказывается, из практиков люди становятся теоретиками. Экспертами, так сказать...

9

В клинике у Романа Святослав Владимирович пролежал полторы недели. Ему вводили какое-то контрастное вещество в кровь, чтобы сделать рентгеновский снимок сосудов, измеряли температуру, пульс, артериальное давление в ноге. Его замучили всевозможными «скопиями» и «графиями». В конце концов, отпуская его из больницы, Роман сказал:

— Подведем итоги. Ничего особо угрожающего пока нет. Это не только мое мнение, это мнение наших ведущих специалистов. Во всем этом деле меня как врача не устраивает только одно слово — пока. Нужна гарантия, которую сейчас, к сожалению, мы дать не можем.

— Что же делать? — осторожно спросил Святослав Владимирович.

— Мы договоримся так: лето вы отдыхаете, набираетесь сил, а осенью мы обследуем вас повторно. Посмотрим динамику. Если наметится хоть малейшее ухудшение, будем принимать чрезвычайные меры.

— Операция?

— Тогда решим. Судя по обстановке. Сейчас у нас разрабатывают одну новую методику. Необходимо какое-то время, чтобы видеть отдаленные результаты. Относительно хотя бы. Пока полученные данные обнадеживают, а это уже кое-что. Я дам вам самые подробные рекомендации, которых вам придется придерживаться неукоснительно. Докажите, что не только ученики могут быть дисциплинированными, но и учителя тоже. Держите меня в курсе событий. При малейших изменениях пишите сразу же.

Вернувшись домой, Святослав Владимирович подготовил все нужные чертежи, используя опыт многих энтузиастов-мореплавателей, включая Вито Дюма, Робина Нокс-Джонстона и Стенли Яблонского. Однако отправной точкой был его собственный шлюп, детище долгого сравнительного анализа и врожденной интуиции. Ребята согласились, что гафельный шлюп, спроектированный их учителем, идеален для подобного рода предприятия. Тем более, что это давало им возможность сэкономить не менее полутора месяцев. Менялась в основном компоновка жилого отсека. Но и здесь Святослав Владимирович проявил такую конструкторскую смекалку и изобретательность, что ребятам оставалось только разводить руками. Использовался каждый квадратный сантиметр площади. Любой проем, любая ниша находили свое применение, причем, как оказывалось позже, единственно возможное и наиболее целесообразное.

Между Святославом Владимировичем и будущим экипажем наладилась оживленная переписка. Он знал о каждом контейнере с материалами и деталями, который отправлялся в Новороссийск из Ленинграда или Москвы. Он давал советы и консультации, щедро делясь тем, что наживалось годами раздумий, ценой бессонных ночей и напряженной работы ума.

Однажды он не выдержал, поехал сам в Новороссийск, на автобусе, кружным путем, без предупреждения. Он долго искал место, где строится шлюп, отмерив на костылях добрый десяток километров. Даже мозоли набил на руках с непривычки.

Когда же Святослав Владимирович нашел, наконец, стапель, никого из его ребят там не оказалось. Видимо, ушли на обед. Было там только двое старичков. Они крепили обшивку к шпангоутам. Один сверлил дрелью отверстия в толстой фанере, другой закручивал длинные шурупы. Сначала он загонял их молотком больше чем на две трети и только тогда брался за отвертку.

— Э-э, так не пойдет! — сказал Святослав Владимирович.— Шурупы не гвозди, их от начала до конца заворачивать нужно. Слегка припосадить молоточком — это другое дело.

Рабочий посмотрел на него с недоумением. Он даже не успел разозлиться.

— И потом сверло... Его надо взять хотя бы на полмиллиметра тоньше. Так ведь слабину даст.

— Слушай, чего ты нас учишь? — пришел наконец в себя плотник.— Не первую клепаем, ясно? Слава


НАДЕЖДА

богу, скоро тридцать лет, как на верфи... И вообще кто ты такой?

— Пойми, голова,— продолжал Святослав Владимирович, и не подумав обидеться,— яхта пойдет в океан, это, брат, не Черное море. Там болтанет — будь здоров! Прочность нужна, сверхнадежность. Ты же мастер! Дай-ка сюда инструмент.

Он отобрал отвертку и, прислонив костыли к поперечине стапеля, привалился плечом к нагретой солнцем обшивке.

— Замени сверло,— тоном, не терпящим возражения, обратился он ко второму рабочему.— А теперь подай дрель.

— Ладно, я сам,— мрачновато ответил тот.

Когда отверстие было просверлено, Святослав Владимирович поплевал на шуруп, вставил его на место и чуть пристукнул молоточком. Потом вынул из кармана отвертку и ввинтил шуруп, ни разу не покривив, с такой быстротой, словно отвертка была с электрическим приводом. Затягивая головку впотай, он только весело крякнул. И бережно провел ладонью по гладенькой фанере.

— Класс! — покачал головой плотник.— Только если на каждый шуруп плевать, слюны не хватит.

— Ничего, меньше потеть будешь.

Сзади кто-то смеялся. Святослав Владимирович обернулся и увидел своих ребят. Они стояли в тени старого грецкого ореха и все еще продолжали улыбаться.

— Мы так и знали, что вы не утерпите,— сказал Сергей, направляясь к учителю.— Иначе это были бы просто не вы.

— Много разговоров и мало дела,— проворчал он.— И с каких это пор вы заделались наблюдателями, а сами не работаете?

Святослав Владимирович проработал до позднего вечера и большую часть следующего дня. Он остался бы еще, если бы не боялся, что дома будут беспокоиться...

Вера Алексеевна видела, как он загорелся, вспыхнул фейерверком энергии, начисто забыв о болезни, и это не могло не радовать ее. Но где-то в глубине души ей становилось обидно, что все это он делает не для себя, а для других. Она подсознательно ревновала его к чужому судну, которому от рождения уготована счастливая судьба, так же, как это бывает у людей. Она вспоминала то многое, от чего ей приходилось отказываться в жизни, чтобы помочь мужу в осуществлении его заветных замыслов. Тогда она считала такое положение вещей естественным и не воспринимала это как жертву, но теперь, когда его идеи, его мысли ускользают от него в чужие руки, когда свое время и силы он тратит на других, на счастливчиков — молодых, здоровых и сильных,— ей становилось обидно до слез.

Здесь в первую очередь в ней говорила женщина, самоотверженная любящая подруга, и только потом педагог, которому предстояло все проанализировать, трезво оценить и понять. А понять для нее уже означало смириться и принять к сердцу.

На самом деле у Святослава Владимировича все обстояло гораздо сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Новость, которую он услышал от ребят, поначалу привела его в смятение, в замешательство. Что-то похожее на нездоровую зависть шевельнулось в его душе. Но только на мгновение. «Разве это не естественно,— убеждал он себя,— разве не я заложил в них эту любовь к познанию? И если им повезло больше, чем мне, не должен ли я радоваться за них больше, чем за самого себя? Ведь в каждом из этих ребят есть и частица меня. Это я знаю твердо. А кто же тогда я? Обыкновенный неудачник, каких было достаточно всюду и во все времена? Не-е-ет! Пусть я не достиг цели, к которой стремился всю жизнь, и пусть я не достигну ее никогда, но шел-то я к ней честно. И совсем не случайно в последних числах октября или в начале ноября спроектированный мною шлюп с моими ребятами на борту уйдет в великое плавание через семь морей и два океана».

И все-таки иногда его начинала одолевать тоска, хотя времени на нее оставалось у него все меньше. Деревянный набор на самодельном стапеле в глубине огорода, к которому он не подходил уже много месяцев, в эти редкие минуты не вселял в него былой надежды, несмотря на то, что он наконец сумел раздобыть самое главное, на что ушли годы,— тридцать восемь листов семислойной водоупорной фанеры, клееной на карбамидной смоле. Острые ребра шпангоутов, прикрепленные к килевой балке, делали набор похожим на скелет давно вымершего животного и являли собой безрадостную картину, навевая мысли о бренности и смерти.

Шло время, но ему не становилось лучше, болезнь оставалась с ним, и порой мерзкий страх коварно подкрадывался к нему. Святослав Владимирович старался смотреть на вещи философски. Он не боялся естественной смерти. И что такое смерть? Небытие? Он просто не будет существовать, как не существовал когда-то, до рождения, и только. Он просто вернется туда, откуда пришел. Но ведь он мог и не родиться. Стало быть, повезло? Он мог, наконец, погибнуть на фронте, когда ему не было и двадцати лет, как гибли миллионы его сверстников. Так разве эти без малого тридцать лет, которые он прожил после войны, не следует рассматривать как щедрый дар, как благодеяние судьбы? Ведь он жил!

Но не естественный конец, не смерть сама по себе вселяли в него беспокойство и страх. Больше смерти он боялся, что ему могут отхватить вторую ногу. Что будет тогда? Каким тяжким бременем повиснет он на шее у Веры! Теперь он все чаще вглядывался в ее знакомое, милое лицо и замечал, как переживания последних лет отпечатываются на нем новыми морщинками, седыми волосками, которых становится все больше и больше. Как он будет жить и что делать? А может быть, строить модели, которые знатоки всегда называли произведением искусства? Ведь и это не каждому дано. У него останутся руки, которыми он втайне всегда гордился. Может быть, и тогда сохранится нечто, ради чего стоило бы жить?

Но от таких мыслей хотелось скорее избавиться. Это было слишком. Тогда он встряхивал головой и просил жену:

— Послушай, дай-ка мне номенклатурный лист по бегучему такелажу. Поглядим, чего там еще недостает нашей «Надежде».

Так, в постоянной переписке с друзьями, в частых встречах с ними, в заботах об их предстоящем плавании прошло сухое, жаркое лето. В конце лета пришло наконец письмо из Москвы от Романа Анохина. Он писал, что Святославу Владимировичу нужна серьезная операция на бедренной артерии, советовал не волноваться и обещал благоприятный исход.

«...Здесь есть хорошие протезисты-ортопеды, ведь вам уже пора подумать о протезе. Костыли надо бросать, чтобы в следующую встречу в «Пекине» или «Праге» вы могли танцевать по очереди со всеми нашими женами».

В последних числах августа закрылся пионерский лагерь, расположенный в поселке неподалеку от дома Святослава Владимировича. Летом, особенно когда было много работы, ребятня порой досаждала ему своим шумом, от которого он успел отвыкнуть

за зиму: горнами, барабанами и бесконечными песнями, извергаемыми мощным динамиком. Закрылась общепитовская столовая для «дикарей», и сразу в Якорном стало как-то сиротливо и пусто.

Святослав Владимирович, наблюдая за хлопотами жены, готовившейся к новой встрече с поселковыми ребятишками, теперь уже второклассниками, не мог не вспоминать и свою школу, которой отдал столько лучших лет жизни. И странно, прежде, живя в городе, он как-то совсем не думал о ней. Так, во всяком случае, казалось ему. Сейчас же он явственно представлял себе этот день первого сентября, который всякий раз волновал его по-новому. Неназойливое осеннее солнце, шорох накрахмаленных передников у малышек, ломкий басок старшеклассников, похлопывающих друг друга по плечам после долгой разлуки, еще не выветрившийся после ремонта запах масляной краски — само олицетворение свежести и новизны,— и цветы, цветы. Море цветов. Потом торжественная линейка. Ко всему привыкший и все же чуточку взволнованный директор, оживление учителей...

— А знаешь, милый, все-таки самое большое удовлетворение учитель получает, работая с малышней,— говорила Вера Алексеевна, перебирая картинки наглядных пособий,— особенно с первоклашками. Надо видеть эти глаза, чувствовать на себе их внимание, когда они боятся пропустить каждый звук. И тогда хочется, чтобы слово твое имело и вес и значение. Перед тобой чистая доска в полном смысле этого слова. Вот я убеждена: какими дети выйдут из первого класса, во многом определит и характер их и наклонности, если не на всю жизнь, то на много лет вперед. Тут уж все во власти учителя. И как славно вместе с ними открывать законы, учиться познавать жизнь, суть добра и зла...

«Школа, школа,— размышлял Святослав Владимирович.— Неужели она навсегда ушла из моей жизни? Нет, такого просто не может быть...»

10

Незадолго до этого Сергей, Виктор и Володя пригласили их с Верой Алексеевной на торжественный спуск судна. Оно покоилось на двух тележках, для удобства буксировки грузовым автомобилем, и теперь стояло у шлюпочного эллинга возле каботажной пристани. Нос его и палубная надстройка были зачехлены, а вокруг толпилось немало зевак, среди которых были и посторонние, и заинтересованные яхтсмены, и люди, причастные к постройке шлюпа. А сработан он был в невероятно короткий срок — за пять месяцев.

Спуск проходил по высокому классу. К основанию бушприта были прикреплены разноцветные ленты, а к самой яркой, красной, привязана за серебряное горлышко бутылка шампанского с огромным бантом. Приехали и официальные представители: из горкома комсомола, из ДОСААФа и местной газеты. Фотолюбители и корреспонденты поглядывали на яркое утреннее солнце, на сверкающую гладь Цемесской бухты и с разных позиций целились объективами на шлюп.

А народ все подходил и подходил. Шли местные портовики, освободившиеся после смены, шли школьники и просто жители города, прочитавшие в газете сообщение о предстоящем спуске яхты. В сторонке, у парапета, поблескивая раструбами своих корнетов, альтов и геликонов, покуривали музыканты.

Секретарь горкома комсомола открыл короткий митинг. Выступающие, как водится, желали шлюпу попутного ветра и семи футов воды под килем, подоброму пошучивали. Короче говоря, было хотя и торжественно, но не скучно. Секретарь горкома подошел к высокому носу парусника и вдруг через мегафон пригласил к себе Веру Алексеевну. Ни она сама, ни Святослав Владимирович не успели ничего сообразить.

— Экипаж шлюпа единодушно просил,— сказал он громко,— чтобы имя новому кораблю присвоили вы.

— Я? Но почему я, смутилась она.

— Вам нужно только сказать: имя этому шлюпу нарекаю такое-то, счастливого ему плавания! И разбить о нос яхты вот эту бутылку шампанского.— И добавил уже тихо, для нее одной: — Штевень окован железом, так что разбить бутылку нетрудно. Возьмете ее за горлышко. А чтобы случайно не порезать руку, вот вам салфетка.

Он уже начал отходить, но тут Вера Алексеевна, окончательно смущенная и растерянная, вспомнила, что не знает названия судна. Ведь об этом при ней ребята ни разу не говорили. Хороша крестная мать! Она сделала несколько шагов в сторону секретаря и спросила, краснея:

— Но я не знаю, как назвать яхту.

— Название вы прочтете, когда с носовой части упадет брезент,— уже на ходу ответил он.

— Ну и славно,— для себя, едва слышно проговорила она.

Дальше у нее все спуталось и перемешалось. Духовой оркестр грянул марш. Тяжелый брезент упал к ногам Веры Алексеевны. Она взяла рукой бутылку, но тут же поняла, что лента помешает ей отойти назад, чтобы прочитать вверху название. Приклепанные к бортам буквы из начищенной бронзы нестерпимо блестели в лучах солнца, а по белой обшивке бегали, отражаясь от воды, веселые зайчики. Поэтому ей пришлось оставить бутылку и отступить на добрый десяток шагов. Она прочитала название и порусски и по-английски — только более мелкими литерами — и почувствовала, как спазм сдавил ей горло и слезы стали застилать глаза. Она поняла, что при всем желании не сможет сейчас произнести даже те несколько слов, которых от нее так ждали.

Она беспомощно оглянулась и, как сквозь запотевшее стекло, увидела массу людей и множество глаз, устремленных на нее, увидела нацеленные кинокамеры и объективы фотоаппаратов. Но она была хорошим учителем и поэтому сумела заставить себя подойти к судну взять за холодное, обернутое фольгой горлышко бутылку шампанского и повернуться к людям.

— Имя этой яхте,— крикнула она неестественно звонким, срывающимся голосом,— я нарекаю «Надежда Вторая»,— и для чего-то тихо добавила поанглийски то, что было написано более мелкими буквами: —«Nadezhda the Second». Счастливого ей плавания!

Она размахнулась и, наверное, сильнее, чем нужно, ударила бутылкой об острый форштевень. Она видела, как пена от шампанского вместе с мелкими осколками стекла омыла белую краску на носу шлюпа и струйками потекла вниз к ватерлинии, где начиналось кроваво-красное днище, и почувствовала, что лицо ее мокро то ли от слез, то ли от брызг шампанского. Она слышала, как кто-то рубил символический трос, и яхта, чуть поскрипывая, поползла по слипу к воде, в море...

И вот теперь в последнем письме ребята писали, что заехать уже не смогут, так как оставшееся время

целиком уйдет на ходовые испытания, связанные с ними доделки и всякие формальности. И, главное, они хотят уйти без помпы, без провожающих, потому что долгие проводы — лишние слезы, да и всякая торжественность в таком деле ничего, кроме вреда, причинить не может. Они и газетчиков просили сообщить об отплытии уже после того, как «Надежда-II» выйдет в открытое море.

В конце сентября боль в ноге у Святослава Владимировича усилилась снова. Стало очевидно, что через месяц-другой поездки в Москву не избежать. Он просил только об одном: чтобы Вера отпустила его одного. Неудобно бросать ребятишек в самом начале учебного года, а позаботиться о нем, там, к счастью, есть кому.

Однажды после обеда, во время очередного приступа боли, он лежал на своей открытой веранде, закутанный в старенький плед, потому что погода заметно испортилась. Временами дул холодный порывистый ветер, а небо над морем стало аспидно-серым, почти черным от громоздившихся туч. Святослава Владимировича слегка познабливало, у него как-то неприятно поламывало в висках и заметно слезились глаза.

В это время на веранду вышла Вера Алексеевна.

— Знаешь, милый, пора в комнату. По-моему, вдобавок ко всему ты еще и простыл.

— Чепуха, это пройдет,— небрежно махнул он рукой.

— Там я принесла газету. Она тебя наверняка заинтересует. Понимаешь, в статье говорится о причине таинственной гибели многих моряков, целых экипажей. Мы же читали об этом, помнишь? Конечно, причина предполагаемая. Но уж больно все убедительно. Речь идет об инфразвуковых волнах. Они рождаются иногда перед штормом и могут беспрепятственно проходить огромные расстояния.

— Это «голос моря»,— сказал он,— я давно знаю об этом...

— Они пишут, что инфразвук может поселять страх в человеке, безотчетный ужас, даже может вызывать психические расстройства. Люди способны на все, что угодно, лишь бы укрыться от него.

— Он вступает в резонанс с колебательными движениями в организме, с током крови, с сокращением сердечной мышцы. Достаточна частота в шесть-семь герц.

— Ты понимаешь, люди могут ослепнуть и даже погибнуть от разрыва аорты, от остановки сердца. Я боюсь за тебя, милый...

— Это уже совсем хорошо,— улыбнулся он.— Значит, ты веришь, что я не совсем пропащий.

— Ты все шутишь...

Но в это мгновение она замолчала, и он увидел, как взгляд ее впился во что-то очень далекое, там, у самого горизонта.

— Опять смерч? — спросил он.

— Нет, милый, там какой-то парусник, далеко-далеко. Как одинокий белый голубь на фоне штормового неба. Очень красиво!

— Бинокль! — крикнул он.— Скорее!

— Не успеем, он сейчас скроется за мысом.

— Все равно!

Вера бросилась в комнату, вернулась с биноклем, на ходу доставая его из жесткого кожаного футляра. Святослав Владимирович схватил его и жадно припал к окулярам. Но, сидя на раскладушке и одной рукой опираясь о ее трубчатую раму, ему трудно было настроить оптику. А тут еще глаза слезились, как на грех...

— Смотри сама,— бросил он, передавая Вере бинокль.— Смотри и рассказывай. Что ты там видишь?

— Сейчас, сейчас... Я вижу большую яхту. Четко. Парус такой... В форме трапеции.

— Гафельный,— поправил он.

— И два треугольных впереди.

— А мачта с небольшим наклоном назад?

— Не видно. Хотя... одну минутку. Наклон, кажется, действительно есть.

— Вера! — крикнул он, рванувшись с кровати.— Дай я посмотрю сам. Ведь это же шлюп, это наша «Надежда» уходит в море!

— Все! Уже не видно,— ответила она, опуская бинокль.— Парусник скрылся за мысом...

Святослав Владимирович медленно опустился на скрипнувшую раскладушку.

— Они все-таки пошли,— бормотал он,— они все-таки пошли. Ах, молодцы, какие же они у меня молодцы!

Он лежал, натянув на себя потертый плед, и слышал, как часто и сильно бьется его сердце. Сомнений быть не могло: его второй шлюп уходил в свое далекое плавание. А может быть, Вера ошиблась, ведь еще слишком рано? По его расчетам, яхта должна была выйти из Новороссийска дней через двадцать, а то и больше.

Или, может быть, Вера сказала неправду? Нет, такого сделать она не могла.

Скорее всего ребята спешат захватить период попутных ветров в Красном море. Таков уж там метеорежим, что с мая по октябрь они дуют с северо-запада, а остальное время года в обратном направлении. Достаточно опоздать на какие-нибудь полмесяца, и жди встречного «мордотыка» на добрую тысячу миль. А тогда попробуй походи переменными галсами, полавируй среди острых коралловых банок.

Однако почему же они не прислали телеграмму? А, впрочем, она могла и не дойти еще. В этот глухой угол телеграммы всегда приходят с опозданием. Он наверняка получит ее завтра...

Святослав Владимирович понемногу успокоился, и ему даже показалось, будто жгучая боль в ноге стала проходить.

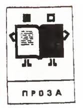
Что ж, если так, скоро ребята будут далеко. Он, возможно, еще не успеет собраться в Москву, а «Надежда-II» выйдет к Сейшельским островам, а то и бросит якорь на самом Маврикии. До него шестьдесят расчетных суток пути. Какая же бездна пространства будет разделять их! Пять тысяч морских миль! Это действительно очень много...

г. Краснодар.



Виктория
ТОКАРЕВА

ДВА РАССКАЗА



СКАЖИ МНЕ ЧТО-НИБУДЬ НА ТВОЕМ ЯЗЫКЕ

Рисунок В. ШУЛЬЖЕНКО.

Я никакая.

Меня никогда не заметишь в толпе, а заметишь, не оглянешься. Меня можно не заметить, даже когда я одна.

В пионерском лагере я всегда была рядовой пионеркой, меня не выбирали даже в санитарки.

В хоре я всегда стояла в последнем ряду, и мой голос лежал на самом дне многоголосья. На танцах я всегда забивалась в угол и смотрела оттуда, как лучшие мальчики танцуют с лучшими девочками.

Моя мачеха мечтает, чтобы я вышла замуж за первого встречного. А мой папа именно этого и боится.

Мы с мачехой почти ровесницы. Она обожает моего отца, его недостатки, его прошлое и меня, так как я вхожу в это прошлое. Она говорит: «Лучше выйти замуж и развестись, чем жить без страстей». Она не понимает, как это можно жить без любви.

В данную секунду своего существования я стою возле окна и выбираю первого встречного.

Вот идет сантехник жэка дядя Коля, тащит за собой трос. Жизнь этого человека делится на пятидневки. Пять дней подряд дядя Коля пьет водку, и тогда в нем распечатывается яркая, незаурядная личность. Он философствует, тоскует, радуется, протестует, легко перемещаясь из состояния умиления в состояние озлобления. Следующие пять дней дядя Коля лежит безмолвный, носом в потолок. Ничего не ест: организм не принимает. На его лице взрастает бурая щетина и проступают приметы начинающего старика.

Следующую, третью пятидневку дядя Коля ходит тихий и виноватый. Берется за любую работу, и любая работа горит в его золотых руках. И в эти дни трудно себе представить, что дядя Коля может быть другим.

Проходит еще пять дней, и дядя Коля вдруг становится ко всему безразличен, в его глазах томится мечта, и он снова совершенно нечаянно напивается, и все начинается сначала, в той же последовательности, без вариантов.

Сейчас дядя Коля пребывает в третьей пятидневке, тащит за собой трос и, гонимый комплексом вины, готов отремонтировать весь микрорайон.

Дядя Коля скрылся за углом. Некоторое время на улице пусто. Вот из третьего подъезда выходит с портфелем мой сосед и современник. Мы не представлены друг другу, я не знаю, как его зовут. Про себя я называю его «функционер», потому что он выполняет в жизни общества какую-то функцию. У него светлая нарядная «Волга» и провинциально значительное выражение лица.

Этот подходит в женихи больше, чем дядя Коля. За него можно было бы выйти замуж и развестись, но у него уже есть жена Рая. Они иногда выходят во двор и садятся на лавочку подышать свежим воздухом. Он смотрит вправо, Рая — влево, вдвоем

они напоминают эмблему двуглавого орла с головами, повернутыми в разные стороны. И нет такой силы в природе, которая бы заставила их посмотреть друг на друга или хотя бы в одну сторону. От них веет такой убедительной скукой, что эта скука достигает седьмого этажа, проникает через стекло и касается моего лица.

Все-таки дядя Коля лучше. С ним не соскучишься.

Моя мачеха любит говорить: «Это не та лошадь, на которую можно ставить».

Если, следуя поговорке, представить: моя жизнь — ипподром, я игрок, а лошадь — госпожа удача, то получается, что сегодня по кругу бегают только чужие и бракованные лошади.

Однажды мы с мачехой бежали по улице, торопились в кино, а посреди дороги полулежал районный алкоголик, но не дядя Коля, а другой. Он пытался подняться, но валился на бок. Снова пытался и снова падал и сквозь мрак своего сознания не мог понять, что ему мешает. Люди шли мимо и обходили этого человека, как предмет.

Я посмотрела на мачеху и сказала:

— Если бы мы не торопились, мы бы отвели его домой. Правда?

— Ну, конечно,— сказала мачеха.

Мы оглянулись, и угрызения совести коснулись нашей души.

— Вот,— сказала мачеха.— Никогда не попадай под ситуацию.

— Чего? — не поняла я.

— Бывает, что человек выше ситуации, а бывает ситуация выше человека. Никогда не позволяй ситуации стать выше себя.

...На мой подоконник сел белый голубь. Это голубь-детеныш, похожий на сильно переросшего воробья.

Я медленно приоткрываю окно, обжигаюсь зимним воздухом, жду, что голубь испугается и улетит, но он сидит и не шелохнется. Потом повернул голову и смотрит мне в самые зрачки.

К дому подкатил синий «Москвич», и оттуда вылез брат Софки Медведевой Александр Медведев в синей дубленке и в лисьей шапке. Он живет на Арбате, а его родители в нашем доме, поэтому я его иногда вижу.

Александр — эстрадный певец. Он постоянно выступает по телевизору, скачет с микрофоном в своих умопомрачительных сюртучках, и все девушки страны млеют перед экраном.

Бывают дни, когда он поет по радио, по телевизору, выступает в печатной дискуссии насчет современной эстрадной песни, и тогда кажется, что весь мир занят только одним человеком.

Александр, должно быть, устает от такой нагрузки и время от времени приезжает к родителям, чтобы припасть к своим корням и зарядиться для дальнейшей жизни.

Однажды, полгода назад, я зашла к Софке что-то взять у нее или, наоборот, что-то отдать. Дверь отворил Александр. Он посмотрел на меня и сказал: «Простите, я не могу подать вам руку, она у меня в водке, я ставлю компресс собаке».

Я ушла тогда, спустилась пешком до третьего этажа, остановилась возле лестничного окна и долго не могла двинуться с места. Мне показалось, что мимо меня, как бригантина в парусах, прошла неведомая мне прекрасная жизнь, а я осталась стоять одна на необитаемом острове.

На другой день я пришла в ателье и сказала, что видала Александра Медведева.

— Ну как? — спросили девчонки.

— У него руки в водке были,— безразлично сказала я.

— А он что, водку руками черпает? — спросил Игорь Корнеев.

Это была ревность.

...Голубь прошелся по карнизу, а Александр Медведев присел на корточки и рассматривает в колесе какую-то гаечку.

Сейчас Александр выпрямится и уйдет.

Я выдергиваю из шкафа шубу моей мачехи и ныряю в нежный мех. Это не шуба, а манто. В нем нет застежки, оно просто запахивается и придерживается рукой. Рука должна быть в высокой перчатке, потому что рукав чуть ниже локтя.

Мачеха говорит, что это манто нужно ей исключительно для самоутверждения, потому что для тепла и удобства у нее есть старое драповое пальто.

Мех обнимает меня, я хорошею в ту же самую секунду и чувствую себя не портнихой детского ателье, а женой местного миллионера.

Я небрежно запахиваю манто и бегу вниз. Сначала по лестнице. Потом по улице.

Я бегу мимо Александра и смотрю перед собой.

Он поворачивает голову и смотрит на меня. Он на меня, а я перед собой.

— Привет! Ты чего не здороваешься?

Он говорит мне «ты», потому что я подруга и ровесница его сестры, представитель какой-то второстепенной для него жизни.

Я останавливаюсь и медленным движением поворачиваю голову в его сторону, смотрю с усталым недоумением: дескать, много тут вас ходит, эстрадных певцов. Со всеми здоровайся, больше ни на что времени не останется.

Он поднялся, подошел ко мне — элегантный, иноземный.

Александр и Софка — полукровки. Отец у них русский, а мать испанка. Росита. Ее вывезли из Испании в тридцать шестом году, и она тут жила и росла, чтобы однажды встретить русского парня и в звездный час зачать сына.

Александр и Софка очень похожи между собой, одни и те же черты. Но в женском лице эти черты сложились неинтересно, а Александр — красавец: лицо нежно-смуглое, глаза будто нарисованы, каждая ресничка читается.

Он смотрит на меня, будто что-то вычисляет, потом вдруг говорит:

— У меня к тебе просьба. Пообещай, что выполнишь.

— А какая просьба?

— Ну вот... Уже торгуешься.

— Мало ли чего ты попросишь!

Я набиваю себе цену, хотя готова на все. Если бы Александр попросил меня украсть или убить, я согласилась бы в ту же секунду, хотя на другой день, возможно, и раскаялась.

— Ты не можешь сегодня пойти со мной в ресторан?

— А что я там должна делать?

— Ничего. Сидеть, слушать музыку.

— Ты приглашаешь меня ужинать?

— Понимаешь...— неуверенно сказал Александр.— Мне очень нравится одна женщина. Она будет с мужем.

— Ясно,— поняла я.

— Что тебе ясно? — насторожился Александр.

— Этот муж должен думать, что я твоя девушка.

— Тебе не обидно?

— Пусть думает,— сказала я.

В косметике самое главное — тщательность.

Наш мастер по детскому платью говорит: есть три степени мастерства. Первая: когда платье сши-



то очень просто от бедности фантазии и плохого исполнения.

Вторая степень: все очень сложно, потому что портной многое может и ему охота себя показать.

И третья степень, когда все просто от ясности рисунка и совершенства мастерства.

Я сижу перед зеркалом и работаю над собой по третьей степени мастерства. Косметика у меня французская. Вкус у меня безупречный. Самое слабое звено — лицо.

У меня нет своего лица. Вообще лицо есть, но черты не связаны одной темой и как бы взяты с нескольких лиц. Глаза — от одного лица, нос — от другого, рот — от третьего.

Я тяжело вздыхаю и, не веря в успех, принимаюсь за дело. Сначала я полчаса наращиваю ресницы, потом беру иголку и начинаю отделять их одну от другой, и на это тоже уходит полчаса. Мое лицо похоже на квартиру во время ремонта, когда все разорено и кажется, что теперь всегда будет так.

Далее я беру норковую кисточку, прорисовываю контур и мало-помалу глаз начинает прорастать на лице, меняет форму и даже выражение, и я предчувствую, что такой глаз может составить честь любому лицу.

Когда девушка не старается нравиться, она и не нравится. Когда она старается и делает это заметно — тоже не нравится. Остается, стало быть, третье: надо стараться «не стараться».

Все девчонки из нашего ателье делятся на душистов и хорошистов. Я не помню, кто родоначальник этой классификации. Но мы подхватили это движение, обогатили его терминологией, хорошистов называем «мордоманами».

Мордоманы — это те, для которых главное в человеке внешность. Его внешнее выражение. А «душисты» предпочитают в человеке глубокую душу.

Я ни то, ни другое. Мне нравятся те, кому нравлюсь я. Если я когда-нибудь кому-нибудь понравлюсь, то такой человек покажется мне и умным и красивым.

Каждый человек в конечном счете любит себя. Себя в себе и себя в другом. И в этом нет ничего предосудительного. Чем лучше человек относится к себе, тем лучше он относится к другим.

Помимо «душистов» и «мордоманов», мы делимся на «софистов» и «игоревистов».

Основоположник игоревизма — Игорь Корнеев. Игорь специализируется на детской верхней одежде, но больше всего на свете он любит ходить в походы, спать в палатках, варить уху в закопченном котелке. Ничего плохого в этом нет. Но в походы Игорь надевает истлевшие ковбойки, палатка у него в паутине и в ящерицах, а котелок и железные кружки имеют такой вид, будто кто-то, балуясь, вил из них веревки.

Игоревизм — это внешнее упрощенчество ради внутреннего раскрепощения. Вариант хиппи. Но хиппи неряшливы специально, а Игорь — нечаянно. Он просто не замечает, на чем он ест и спит. Как кошка или собака. Как, должно быть, не обращал внимания неандерталец. А все достижения человечества за тысячи лет оставили его глубоко равнодушным.

Софизм берет начало от Софки Медведевой.

Однажды у Софки случился приступ аппендицита. Она легла на диван и стала слушать в себе боль. Боль час от часу становилась сильней, в какой-то момент сделалась невыносимой, а потом стала тупой, и сама Софка тоже сделалась тупой и поплыла в полубред-полубеспамятство. Оказывается, у нее лопнул аппендикс. От этого бывает перитонит.

Когда я пришла к ней в больницу, я спросила:

— А почему ты сразу не вызвала врача?

— А он бы прямо в ботинках прошел.

Софка представила себе, что врач, не снимая ботинок, а, может, даже не вытерев ноги, двинется прямо в комнату. Потом он пойдет в ванную мыть руки, и на мыле останутся подтеки. Далее, врач понесет мокрые руки к полотенцу и капнет на кафельный пол. Подтирать сразу же при нем будет неудобно, капли засохнут на полу кружками, потом их придется отскребать. Врач вытрет руки о полотенце и сдвинет полотенце со своего места. Да лучше Софка умрет, чем потерпит такое наплевательство к Его Величеству Чистоте.

И, действительно, чуть не умерла.

В квартире у Софки — стерильная чистота, как в операционной. Каждого человека, пришедшего к ней, она воспринимает не как личность, индивидуальный экземпляр в природе, а как источник грязи.

Когда Софка подшивает платье, то похоже, будто полоска подшитой материи не прикреплена нитками, а держится сама собой, силой собственного притяжения.

Наш мастер ставит Софку в пример и говорит, чтобы мы у нее учились. Но «софизм» — это черта характера, с которой человек должен родиться, и научиться этому невозможно...

Может быть, в роду у Софки со стороны матери были испанские цыгане, которые кочевали веками, как игоревисты, и софизм сформировался как протест против игоревизма. Этот софизм формировался долго, из поколения в поколение, а полностью выразился в Софке.

А еще, может быть, сочетание русской и испанской крови дает такой неожиданный результат. Либо это своеобразное проявление таланта. Александр — певец, а Софка — гений эстетического комфорта.

Что касается меня, то я занимаю центристскую позицию между софизмом и игоревизмом. Для меня важно не где я, а с кем. Только человек может наполнить человека. Только об человека можно поджечь свою кровь.

Мое лицо тем временем готово. Я выгляжу так, будто вчера вернулась с побережья Крыма и Кавказа. Мои ресницы царапают противоположную стену. Волосы лежат сплошным полотном и блестят.

Я смотрю на себя и медленно говорю:

— Пенелопа... Мельпомена...

Кто такие эти тетки, я точно не знаю. Кажется, Мельпомена — покровительница муз, а Пенелопа — верная жена странствующего Одиссея. Дело не в том, когда они жили и были ли они вообще. Дело в их именах — длинных, странных, диковатых, как мое лицо, не объединенное общей темой, как мое настроение.

— Пенелопа... Мельпомена...

Потом я вздыхаю и думаю попроще.

«Господи! — думаю я.— Ну нельзя же быть такой хорошей. Надо же быть хоть немножко плохой».

Ресторан считался китайским, но музыка в нем была европейская.

На помосте собрались шесть патлатых музыкантов. Впечатление, что они не работают, а веселятся в собственное удовольствие и сообщают это удовольствие всем вокруг.

— Лови кайф,— сказал Александр.

— Что? — Мне показалось, что он говорит по-испански.

— Слушай,— перевел он,— и старайся получить удовольствие.

Я не умею «стараться получать удовольствие», но на всякий случай согласно киваю головой.

Возле меня локоть Александра и его профиль с аккуратным ушком. Я смотрю на него, как на предмет обожания Софки, и от этого чувства мне нежно и грустно.

— Как тебя зовут?

Он наклоняется ко мне. У него такое выражение, будто я сломала ногу и что-то у него прошу. А он наклонился с величайшим состраданием к моему несчастью, вниманием к просьбе и готовностью тут же ее исполнить. Видимо, ему неловко, что он позвал меня в соучастницы, отсюда этот взгляд.

— Как тебя зовут по-испански?

— Алехандро.

— А сокращенно?

— Сача. В испанском языке нет буквы «ш».

В самом деле, а почему он меня позвал? Я достаточно знакома, чтобы ко мне можно было обратиться за подобным одолжением. И достаточно незнакома, чтобы это стояло между нами в дальнейшем.

— Скажи мне что-нибудь на твоем языке.

Он призадумался, что бы такое сказать. Потом заговорил. В его речи действительно не было ни одной буквы «ш». Слова сыпались, отскакивали от зубов. Казалось, что они формируются не в глубине гортани, а где-то между губами и зубами.

Я посмотрела в его лицо и увидела, что его речь похожа на его щеки и глаза.

— Что ты сказал? Переведи.

Подошел официант.

Александр заказал почти все меню сверху донизу. Я поняла — он широкий человек. А в широких людях много умещается. И хорошего и плохого.

Наконец появились он и она.

Она — высокая блондинка, вьющаяся и улыбчивая, вся в летящем шелке волос. Уголки губ и глаз приподняты кверху и будто бы готовы взлететь.

Он славный, но немножко задрипанный. Из игоревистов.

Она кивнула мне со счастливым выражением, а потом точно с таким же выражением уставилась на Александра.

— Познакомьтесь.— Она представила своего мужа.

Александр представил меня. Все сунули друг другу ладошки и перечислили имена: Лиля, Славик, Александр, Вероника.

— Имя Вероника произносится с ударением на «о»,— поправил меня Славик.— От города Верона.

— А ты откуда знаешь? — Лиля с удивлением уставилась на мужа, он на нее, и они некоторое время рассматривали друг друга. Чувствовалось, что процесс взаимного узнавания у них еще не завершился.

Когда Лиля произносила слова, то ее губы смыкались на согласных с наивным и трогательным выражением. А глаза были раскрыты только для добра и удивления. В ней было что-то завораживающее, я смотрела на нее, как змея на дудку заклинателя.

— Вы учитесь? — спросила Лиля.

— Я портниха,— ответила я.

Далее я должна была поинтересоваться родом ее деятельности, но я не стала спрашивать.

— А меня вызывали на конкурс «Алло, мы ищем таланты!».

Я должна была спросить насчет талантов, но воздержалась. А вдруг не нашли...

— У меня был неудачный репертуар,— сказала Лиля.

— Просто ты не умеешь петь,— сказал муж.

— Конечно. Ты никогда не находишь во мне никаких достоинств. Тебе любая лучше, чем я.

— Ну почему же? — возразил Александр, хотя это должен был сказать муж.

— Эта, из Казани, и вовсе петь не умеет. Истеричка, да и все,— обиженно сказала Лиля.— Просто у нее был подходящий репертуар.

— Она понравилась всему жюри,— дипломатично сказал Александр.

Подошел официант, заставил весь стол яствами. Александр положил мне на тарелку китайскую закуску: зеленые яйца, тухшие каким-то особенным, китайским образом, и к ним водяных червей.

— Сплошные калории,— объяснил он.

Славик разлил водку по рюмкам. Все подняли рюмки и сдвинули взгляды: летящие глаза Лили, испанские глаза Алехандро, неприкаянные мои глаза и равнодушные — Славика, под пеплом вежливой скуки.

— За знакомство,— определила Лиля.

Все молча выпили.

На вкус тухлое яйцо оказалось именно тухлым яйцом и ничем иным. А черви и в соевом соусе пахли сыростью.

Александр стал рассказывать Славику о жюри, о конкурсе, о талантах и о взаимосвязи этих трех категорий. Он говорил увлеченно, слегка подобострастно, как бы оправдываясь за неуспех Лили. Славик слушал, его лицо было внимательным и деликатным. Он, казалось, отодвигал подобострастие Александра и даже суть вопроса о конкурсе. Оставлял только суть самого Александра и был вежливо снисходителен к этой сути.

Лиля смотрела по сторонам с наивным и рассеянным выражением.

Я сидела и честно выполняла свою роль крыши.

Человек, которого берут для вида, называется «крыша»...

Я крыша Александра. Славик — крыша Лили. Вернее, не крыша, а зонтик. Она держит его при себе на случай дождя или жары. А когда хорошая погода, то складывает и прячет в сумку. Лиля бегает по жизни с зонтиком и ищет себе дом.

Подошел какой-то хмырь и позвал ее танцевать.

Она поднялась из-за стола, но не сразу, а сначала потянулась, задвигала талией, как бы вывинчивая ее из бедер. Потом отделилась от стула и пошла.

Все мужчины в зале перестали жевать, смотрели на Лилю и посылали ей вослед и навстречу мощные флюиды. Воздух был плотный от флюидов, и Лиля шла медленно, разводя флюиды руками, плечами, коленями. Ее движения были замедленные и гибкие, как у кошки.

Славик безучастно смотрел ей вслед, а Александр положил руку на спинку моего стула, как бы говоря Славику: у тебя твое, а у меня мое, и твоего мне не надо.

Музыканты сильно обрадовались и застучали, как бешеные. Все запрыгали, и хмырь запрыгал, а Лиля стояла неподвижно, с опущенными глазами, как бы вбирая в себя ритм.

Потом ритм вошел в нее и стал главнее, чем она сама. Лиля вскинула руки над головой во всю длину, как бы показывая все свое божье тело и одновременно извиняясь: ну простите, что я так хороша, уж так вышло. Она некоторое время вздрагивала на своих длинных ногах, потом перечеркнула в себе какую-то грань и пошла, гонимая вдохновением.

Если рассматривать танец как самовыражение, то танец Лили можно было прочитать так: я все беру у тебя, жизнь. Я все у тебя беру и все отдаю. Ни-

чего не придерживаю. Я все прощаю и за все мщу. Я пойду по лежачим и сама согласна стать жертвой и ощутить ботинок на своем лице...

— Ну, завелась,— сказал Славик обычным тоном, без восхищения и без раздражения. Видно, ему это божье тело и божье вдохновение успели десять раз надоесть.

— Она очень красивая,— сказала я.

— Да? — удивился Славик.— Там, где мы живем, другая эстетика.

— А где вы живете?

— В Мурманской области.

— Действительно? — не поверила я.

— Ну, конечно.— Славик улыбнулся. Улыбка у него была какая-то неокончательная.

— А кем вы работате?

— Врач,— сказал Славик.— А Лилька лаборантка. Я был для нее большое начальство.

— А что делает лаборантка? — спросила я.

— Анализы.

— Какие?

— Кровь. Моча. И прочее.

— Лиля имеет дело с мочой? — искренне удивилась я.

— На это надо смотреть как на материал,— сказал Славик.

Подошла Лиля, сопровождаемая хмырем. Из нее били фонтанчики счастья, а уголки глаз и губ норовили взлететь с лица.

— Душно,— радостно пожаловалась Лиля.

— Ничего. Положительные эмоции — это тот же кислород, они ускоряют окислительные процессы.

Я посмотрела на Александра и догадалась: все радости жизни и явления природы не существуют для него самостоятельно, сами по себе, а выполняют служебную роль и служат непосредственно ему, Александру.

Музыка — кайф. Еда — калории. Радость — положительные эмоции. И мне вдруг захотелось в палатку к Игорю Корнееву. Сидеть себе, возведя глаза к звездам, и гладить на коленях нежную малахитовую ящерицу.

Александр разлил водку по рюмкам.

— Отсюда ты начнешь завоевывать Москву,— объявил он Лиле.

— А зачем ее завоевывать? — спросил Славик.

— А что еще делать? — поинтересовался Александр.

— Мало ли дел?

— Ты рассуждаешь, как старик,— определила Лиля.

— Старики мудрее молодых,— сказал Славик.

— Старики старше молодых,— сказал Александр.— Я буду старым тогда, когда я буду старым. А сейчас мне тридцать лет, и я никогда не умру.

— Как это? — спросила я.

— Не захочу.

— Все равно умрешь.

— Нет. Я вызову все резервные силы организма и останусь.

Я с мистическим любопытством посмотрела на Александра.

— Выпьем! — напомнил Александр.

Все выпили прозрачную пронзительную водку и сосредоточились на еде.

— Когда Леонардо да Винчи нанимался на работу к какому-то вельможе, то написал ему: «Я умею строить самолеты и рисовать лучше всех»,— поведал Александр.

— Тогда не было самолетов,— уточнил Славик.

— Все равно. Летательные аппараты. Не в этом суть. Леонардо трезво понимал свое место. И каждый человек должен трезво понимать свое место, и это не имеет отношения ни к скромности, ни к хвастовству.

Лиля слушала, впитывала в себя Александра синими, тревожными глазами.

— Я пою лучше многих, но буду петь лучше всех.— С Леонардо Александр перешел на себя.— А если явится тот, кто будет петь лучше меня, я оставлю эстраду и стану делать что-то другое.

— Летательные аппараты,— сказала я.

— Да. Летательные аппараты. Я изобрету самолет, который не будет разбиваться. Он, правда, не сможет сесть, но и не упадет. И мне человечество поставит памятник.

— А зачем вам памятник? — спросил Славик.

— А вам не хочется?

— Памятник? Нет, не хочется. Я исповедую маленькие радости каждого дня.

— Потому что тебе недоступно большее,— отозвалась Лиля.

— Может быть,— не обиделся Славик.

— Я однажды был за границей. Там ныряльщики деньги зарабатывали, ныряли со скалы в залив. Надо было не просто прыгнуть и лететь, а в полете обогнуть выступ. Понимаешь? — Александр обернул ко мне оживленное лицо.— Не просто лететь вниз, а управлять телом, чтобы не ахнуться об выступ. Так что̀ вы думаете? Я тоже залез и прыгнул. И обогнул. Меня, правда, в тот же день посадили в самолет и отправили обратно.

Я посмотрела на Александра и по его лицу поняла, что он сейчас там, на вершине скалы.

— А знаете, почему я прыгнул?

— Любопытство к своим возможностям,— сказала я.

— Потому что вокруг было много народу,— сказал Славик.

— Верно,— подтвердил Александр.— Я очень завишу от чужого мнения. Я мог бы даже умереть на народе. Пусть меня поставят на лобное место и отсекут голову, только чтобы была полная площадь народу.

Подошел официант и стал убирать со стола пустые тарелки. Александр задержался на нем глазами, и я догадалась: он не хотел, чтобы официант отходил. Ему хотелось, чтобы он остался и послушал. Мы были для него не только Лиля, Славик и я. Мы были аудитория. И чем она шире, тем лучше.

Александра было так много, что ему хотелось поделиться собой с другими.

А я никакая. Мне и делиться нечем. Я, правда, могу собрать изношенные вещи и поставить на них заплатки в форме листика или сердечка.

Лиля и Славик отправились танцевать.

Славик и сидел и танцевал потому, что он попал под ситуацию.

Крыша — соучастие в предательстве. Славик оказался соучастником собственного предательства.

— А ты действительно можешь изобрести летательный аппарат? — спросила я.

— Могу,— просто сказал Александр.— Я все могу, за что ни возьмусь. Я даже штопаю лучше, чем Софка. У меня незаметно — где штопка, а где здоровая ткань.

— А почему ты такой?

— Потому что мне интересно жить.

Лиля и Славик вернулись посреди танца. Выяснилось, что Славик не взял у квартирной хозяйки ключи, и теперь та не сможет лечь спать. Либо уже легла, и ей придется вставать и отпирать двери.

Лиля молча глядела перед собой. В ее глазах остановилась затравленность.

Есть люди — кошки, а есть люди — собаки. Кошки привыкают к дому, собаки — к людям. Лиля бы-

ла не кошка и не собака, какой-то другой зверек, неведомый мне.

— Я никогда ни перед кем не унижалась,— проговорила Лиля, глядя на меня.— Я даже не знаю, что это такое.— Лиля внезапно замолчала, будто выключили звук.— Я очень гордый человек.— Лиля снова замолчала.— Но квартирная хозяйка для меня — священная корова, которой позволено все. Ей можно все, а мне ничего. Я ему сразу сказала: возьми ключи!

Лиля резко замолчала, и я увидела, что она плачет. Плачет яростно и трудно, скрываясь за словами и неподвижным лицом.

Она плакала потому, что провалилась на конкурсе и теперь должна будет вернуться в орбиту маленьких радостей. Рассматривать под микроскопом мочу и считать, что это материал. А ей бы нырять со скалы вниз головой у всех на виду.

Мне захотелось ей сказать: «Не разобьешься, так устанешь. А когда человек устает, ему плевать: смотрят на него или нет».

Принесли горячее, трепанг в соусе. Это блюдо не имело вкуса, напоминало неподсоленный рисовый отвар.

Должно быть, трепанг был неправильно приготовлен, либо переморожен, либо то и другое.

— Не переживайте,— сказала я Лиле.— И не бойтесь квартирных хозяек. Самое главное — это не зависеть от чужого мнения.

Музыканты на помосте красиво сходили с ума.

Певец, длинноволосый и изящный, как женщина, вздрагивал и выкрикивал песню, будто давал сигналы из какой-то своей страны.

— Пойдем! — Александр позвал меня танцевать.

Я глядела на темную колышущуюся массу, где все были заражены микробом веселья. Веселье казалось мне неестественным, воспаленным, как перед общим несчастьем.

Пока мы продвигались между столиками, певец замолчал, а потом запел медленную песню. Музыканты притихли и стали томные.

Александр обнял меня, закрыл глаза, прижался щекой к моей щеке.

Я глаз не закрывала. Наоборот, я раскрыла их пошире и увидела, что он не меня обнял.

И мне вдруг показалось, что все танцуют не с теми. Все разъединены и только притворяются веселыми.

Я сделала шаг назад и вывела свои плечи из-под ладоней Александра.

Он очнулся и посмотрел на меня.

— Я сейчас,— сказала я и пошла.

— Тебя проводить? — спросил Александр.

— Нет. Я сама.

Я вышла в гардероб и спохватилась, что мой номерок остался у Александра.

Если я сейчас вернусь и попрошу номерок, то он удивится и спросит:

«А почему ты уходишь?»

«Вы мне надоели», — скажу я.

«Но почему?»

«Я не крыша. Я Пенелопа».

«Ничего не понимаю»,— скажет Александр.

«Потому что мы говорим на разных языках».

Гардеробщик смотрел на меня и ждал.

— До свидания,— попрощалась я и пошла к дверям.

Я вышла на улицу.

Вокруг меня была красивая зима, которая существовала сама по себе, независимо от Александра и от других, очень талантливых людей. Снег не падал, а как бы стоял и чуть покачивался в воздухе.

Моя кружевная кофточка перестала сохранять тепло, и температура моего тела сравнялась с температурой воздуха.

Я вдохнула поглубже и побежала по улице, прорезая собой холод, чувствуя радостную силу в ногах.

Редкие прохожие останавливались и смотрели на меня с недоумением — наверное, думали, что я от кого-то спасаюсь или за кем-то гонюсь.

Я действительно и убегала и гналась.

Приду завтра в ателье, скажу девчонкам:

«Я была в ресторане с Александром Медведевым и ела трепанга».

Александр Медведев был не со мной.

Я скажу:

«Вчера ужинала в китайском ресторане и ела трепанга».

Трепанг был не трепанг.

Тогда что я делала в китайском ресторане?

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Рисунок И. ХОХЛОВА.

Работник четыреста восемьдесят третьего почтового отделения Клавдия Ивановна Прохоренко, а среди знакомых — тетя Клава-почтовичка, дождалась конца рабочего дня и, закончив дела, направилась в «Гастроном».

«Гастроном» был в том же доме, что и почта, только с другой стороны, а с третьей и четвертой сторон размещались химчистка, комбинат бытового обслуживания, столовая и парикмахерская с косметическим кабинетом.

Говорили, что такие удобства воздвигли рядом с общежитием для студентов-иностранцев, чтобы они не бегали туда-сюда по всему городу, а все у них было под рукой: и почта, и парикмахерская, и магазин.

Тетя Клава вошла в «Гастроном». Студенты в пестрых одеждах бродили, как озябшие заморские птицы, и, глядя на дымно-курчавые головы африканцев, тетя Клава думала: «На что им парикмахерская? Их хоть причесывай, хоть не причесывай...»

Мясной отдел был беден в конце дня. Импортные куры в красивых целлофановых пакетах выглядели такими каменно промерзшими, будто их забили до нашей эры и хранили до сегодняшнего дня в районе вечной мерзлоты.

Тетя Клава обвела прилавок скучным взором и поехала на базар.

Базар всегда волновал ее, как когда-то в молодости волновала танцплощадка: возможностью выбора и ожиданием удачи, счастливого случая. И сейчас, входя под своды Черемушкинского рынка, тетя Клава испытала забытое теснение в груди.

Базар встретил ее щедрой осенью, хотя за порогом стояла грязная авитаминозная весна.

Сразу при входе начинались цветы. Они сущест-

вовали в ведрах с водой, совершенно обособленные от своих заземленных хозяев.

Поговаривали, что цветы эти поморожены, что лукавые хозяева смачивают их в специальном растворе и цветы вянут в ту же секунду, как только их приносишь домой. Может, это было и правдой. Но глядя на гвоздики и розы, на их хрупкую живую нежность, трудно было себе представить, что эта красота кончится, иссякнет когда-нибудь.

Мяса на базаре не было. Видимо, колхозники все продали с утра, сдали весы и уехали к себе в деревню. Тетя Клава долго бродила среди прилавков без дела, потом купила кулек тыквенных семечек и направилась к выходу.

У самых дверей ей повстречалась высокая худая баба в расстегнутом ватнике. Из-под ватника, вытянув шею, выглядывал цыпленок. Он был грязный, облезлый, походил на маленького спившегося орла.

— Сколько стоит этот гусь? — спросила тетя Клава и сняла с губ шелуху от тыквенных семечек.

Баба внимательно оглядела тетю Клаву от шапки, украшенной лисьим хвостом, до туфель на микропоре и сказала:

— Сами вы, гражданка, гусь...

В автобусе все места оказались заняты. Тетя Клава строго оглядела пассажиров, ожидая поймать чей-нибудь виновато бегающий взгляд. Но пассажиры сосредоточенно читали газеты или, глядя в запыленные окна, просматривали в уме свою жизнь.

Тетя Клава встала поустойчивее и тоже стала смотреть перед собой с независимым видом. В ее напряженных глазах отчетливо читалась гордость, настоянная на обиде.

Обида была не в том, что все сидят, а тетя Клава стоит. Это мелочь. Обидно было, что тетя Клава стоит единственная во всем автобусе. Только ей и не хватило места. И так было всегда.

Наверное, господь-бог задумал тетю Клаву как неудачницу и все пятьдесят лет, которые она жила на свете, не позволял ей отвлекаться от его первоначального замысла.

Если тетя Клава влюблялась, обязательно не в того, хотя «тот» мог стоять рядом. Если болела — обязательно с осложнениями. Если стояла за чем-нибудь в очереди, то это «что-то» кончалось прямо перед ней.

В автобус вбежали парень и девушка и стали подле тети Клавы. Этим было все равно, есть места или нет. Парень тут же взгромоздил руку на плечо девушки, и его острый локоть нацелился прямо в ухо тети Клавы. Такая бесцеремонность неприятно волновала. Было напряженное ожидание, как перед анализом крови, когда тебе должны ткнуть иголкой в палец.

Автобус свернул и чуть накренился, и молодой человек тоже накренился вместе с автобусом, и его локоть плавно лег на голову тети Клавы.

— Нельзя ли поосторожнее? — с готовностью, будто только этого и ждала, спросила тетя Клава.

Парень мельком посмотрел на нее, сказал «извините» и отодвинулся. Девушка тоже мельком посмотрела на тетю Клаву, и в ее быстром доброжелательном взгляде можно было уловить: «Неужели не скучно быть такой толстой и носить такую шляпу?»

Тетя Клава пришла домой, вытащила цыпленка из сумки. Его лапы были перевязаны красной сатиновой тряпочкой.

Она развязала узел, размотала тряпку и поставила цыпленка на ноги. Он свалился на бок. Тетя Клава снова поставила его, но он снова лег, безучастно глядя над собой круглым оранжевым глазом.

Тетя Клава постояла над цыпленком и пошла звонить подруге Зинаиде, тоже почтовичке.

У той в жизни были две противоположные страсти: любовь и ненависть. Любовь к дочери и ненависть к зятю. Когда зять ходил по квартире, Зинаида тихо плакала от безысходной, изнуряющей ее ненависти. Это чувство постоянно жило в ней и кричало живыми голосами. Они пытались было разъехаться и даже разменяли свою квартиру на две комнаты в разных районах. Но, потеряв возможность ненавидеть зятя, Зинаида ощутила опустошение, дыру, как след от прошедшей навылет пули. Жить с этой дырой она не могла и снова переехала к дочери и продолжала любить и ненавидеть уже на меньшей площади.

— Зин, ты? — спросила тетя Клава, заслышав знакомый голос.

— Сыр без хлеба жрет! — заорала Зинаида.— Я ему говорю: «Вы чего ж хлеб-то не берете?» А он: «Не хочу поправляться». Это, знаешь, и дурак будет все хорошее без хлеба жрать!

— Да...— формально посочувствовала тетя Клава.— Слушай, я на базаре куренка купила, а он больной...

— Почем брала?

— Рубль.

— Конечно, больной! — сказала Зинаида.

Видимо, ход ее мыслей был таков: цыпленок — это маленькая курица, которая скоро вырастет и будет стоить много дороже, и человеку нет смысла отдавать за рубль то, что стоит пять. Больной же цыпленок не стоит ничего, и вполне резонно получить рубль за то, что вообще не имеет цены.

— Они, небось, дуру по всему базару искали,— добавила Зинаида.

Тетя Клава вспомнила хмурую бабу в ватнике. Она, возможно, простояла с утра целый день, пока дождалась единственную во всем городе дуру, и в тети-Клавину чашу терпения упала еще одна тугая капля.

— А разве куры болеют? — на всякий случай усомнилась тетя Клава.

— А как же? У них и печень бывает увеличена.

— А лекарства им дают?

— Какие курам лекарства? Под нож и в суп. Ты только не вздумай варить,— предупредила Зинаида.— Черт с ним, с рублем...

— А куда я его дену?

— Выкинь, да и все.

— Так он же живой.

Женщины замолчали, потом Зинаида сказала:

— Вчера вышел из ванной, сел в кресло, начал ногти на ногах стричь. Так ногти, веришь, по всей комнате летят и в ковре застревают. А кто будет выковыривать? Я ему говорю: «Вы бы газетку подстелили...»

— Я пойду,— задумчиво сказала тетя Клава.— Меня ждут...

Цыпленок лежал, покорный судьбе, полуприкрыв глаза прозрачной пленкой.

Тетя Клава достала с полки трехлитровую банку с рисом, отсыпала немножко в горсть, приподняла голову цыпленка и осторожно утопила ее в своей ладошке. Ощутила острый клюв, легкую тяжесть головы, услышала чуть проступающее тепло длинной вялой шеи.

Цыпленок оставался безучастным, даже не открыл глаз.

«Не жрет»,— констатировала тетя Клава, и на ее душу опустилась печаль, ей самой, как цыпленку, захотелось прилечь и прикрыть глаза.

Тетя Клава посмотрела за окно. Там гуляли ста-

рухи с детьми. Погода была промозглая. Старухи стояли спиной к ветру, втянув головы в плечи, неподвижные, как пингвины, а дети носились и вопили, распираемые радостью жизни, и было похоже, что у старух одна погода, а у детей другая. Дети расположены ближе к земле, и там другой климат.

Тетя Клава перевела глаза на скорбный профиль цыпленка и вспомнила, что куры любят дождевых червей.

Она взяла с плиты пустую консервную банку, в которую бросала обгоревшие спички, нашла ложку, надела куртку и пошла на улицу.

На улице тетя Клава немножко постояла с бабками, деля их беседу, потом, как бы между прочим, отделилась от общества, завернула за угол дома и, оглядевшись по сторонам, достала из-под куртки ложку и банку.

Тетя Клава для устойчивости поставила ноги на ширину плеч, наклонилась, крякнув, и стала энергично скрести ложкой землю. Земля была жесткая, спрессованная холодом, корнями не пробудившейся еще травы.

Через минуту у тети Клавы перед глазами поплыли геометрические фигуры, она была не приспособлена стоять долго вниз головой.

Тетя Клава распрямилась и сквозь мерцающие фигуры увидела реальную восьмилетнюю Ленку Звонареву.

— Субботник? — спросила Ленка, кивнув на свежевырытую лунку в земле.

— Червей копаю,— оробело созналась тетя Клава.

— Рыб кормить?

Тетя Клава помолчала, не хотела приоткрывать Ленке свою душу.

— А мы рыбам готовый корм покупаем,— похвасталась Ленка.— В зоомагазине.

До закрытия зоомагазина оставалось меньше часа, поэтому тетя Клава ринулась туда на такси.

Что-то заклинило в системе постоянного невезения, отказал какой-то клапан, и тете Клаве беспрерывно счастливо везло в этот вечер: и магазин оказался открыт, и корм не кончился перед самым носом, и машина летела над асфальтом, как самолет, и шофер сидел не отчужденный усталостью от малых тети-Клавиных забот, а был мудрый и доброжелательный, как сообщник.

Правда, вся эта экскурсия в оба конца обошлась тете Клаве почти столько же, сколько стоит здоровая взрослая курица. Но тетя Клава не вспомнила об этом. Она летела над асфальтом, заботливо придерживая на коленях два пакета: в одном копошились мелкие розовые гады, а в другом лежал какой-то прах, похожий на сухих расчлененных мух.

Прошла неделя. Цыпленок выздоровел и бегал по квартире, царапая паркет своими загнутыми когтями.

Тетя Клава вымыла его в ванной с польским шампунем без слез со смешным детским названием «Миракулюм».

Зинаида предупредила запоздало, что кур купать нельзя, они от этого дохнут.

Тетя Клава не спала всю ночь, то и дело поднимая с подушки голову, вглядываясь в угол, где комочком сгустившейся темноты дремал цыпленок. Он сидел, уткнув голову в грудку, цепко обкогтив спинку стула. Это был насест.

Утром стало очевидно, что цыпленок от купания не сдох, а стал очень красивый. Его перья сверкали белизной, лапы были нежно-желтые, а красный гребень пламенел над оранжевым глазом, у которого было какое-то неблагодарное, склочное выражение.

У петуха появились свои привычки, продиктованные, видимо, куриным инстинктом, потому что научить этому тетя Клава его никак не могла. В четыре часа утра он кукарекал, возвещая новый день. Кукарекал не браво, а ржавым скрипучим сигналом, но и этого было достаточно, чтобы тетя Клава просыпалась, а потом лежала в бессоннице, глядя, как на полу вытягивается тень от рамы.

Она боялась, как бы петух не побеспокоил соседей за стеной, и стала надевать ему на клюв резиночку от аптечного пузырька, и снимала только во время еды.

Форточку тетя Клава не открывала, боялась, что цыпленок улетит, как журавль, в небо либо выберется на балкон и там его поймает соседская кошка Люся. Люся свободно разгуливала по балкону, а иногда вставала на задние лапы и, уткнувшись мордой в балконную дверь, разглядывала мебель своими прекрасными грешными глазами.

По вечерам тетя Клава с петухом усаживались перед телевизором и смотрели все передачи подряд с таким вниманием, будто им надо было отзыв в газету писать.

Тетя Клава сидела в кресле, а петух лежал у нее на коленях и, вытянув шею, смотрел на экран. Наверное, его гипнотизировали движущиеся серо-белые пятна.

Больше всего они любили смотреть фигурное катание на первенство Европы. Иногда телевизионный оператор переводил свою камеру на зрителей, и тогда были видны болельщики: веселые старики в значках, тщательно причесанные старухи, изысканно-патлатые красавицы...

Как всегда, звонила Зинаида, выводила пастй свою тоску.

— А мой вчера, знаешь, когда домой явился? — зловеще спросила Зинаида.

— Пока маленький, ничего...— обеспокоенно ответила тетя Клава.— А вырастет, боюсь, затоскует.

— Кто? — не поняла Зинаида.

— Петух.

— Да пошла ты к черту со своим петухом!

— А ты со своим зятем,— ответила тетя Клава и положила трубку.

Жизнь текла размеренно, уютно-скучно. Случались плохие настроения, которые чередовались с хорошими без видимых причин, а просто для баланса.

На работе, в четыреста восемьдесят третьем отделении, тетя Клава вдруг отказалась распространять лотерейные билеты.

Заведующий отделением Корягин воспринял новое поведение тети Клавы как признак усталости. Он вызвал ее в кабинет и предложил бесплатную путевку в санаторий в Ялту.

Хорошо было бы окунуться в лето, постоять у самого синего моря, поглядеть на белые корабли, на волосатые пальмы. Хорошо было бы отгулять весной, чтобы дать возможность товарищам пойти в отпуск летом.

— Я не могу,— отказалась тетя Клава, глядя в надежные глаза Корягина.

— Почему?

— У меня дома некормленный...— тетя Клава хотела сказать «цыпленок», но не сказала: Корягин мог подумать, что она занялась натуральным хозяйством и из жадности разводит кур.

— Кто некормленный? — обидно удивился Корягин.

— Петя...

— А он что, сам не может разогреть?

Тетя Клава промолчала.

— Он моложе вас? — догадался Корягин.

Тетя Клава задумалась: у кур другой век, а значит, и другой расчет возраста.

— Не знаю,— сказала она.— Может, моложе, а может, ровесники.

Тетя Клава вернулась в отдел.

Зинаида сидела на телефоне, игнорируя очередь, скопившуюся у ее окошка. Ее зятя увезли в больницу с язвой желудка. Врачи утверждают, что язва образуется исключительно на нервной почве. Зинаида подозревала, что эту почву она вспахала собственными руками, и теперь ее мучили угрызения совести. Она каждые полчаса звонила домой и спрашивала: «Ну, как наш папочка?»

Мимо окна пестрым табором прошли студенты-японцы в красивых курточках, похожие на елочные игрушки из вечного детства. Прошли светловолосые девушки, похожие на русских. А возможно, и русские...

Как-то вечером раздался телефонный звонок. Тетя Клава была уверена, что это Зинаида со своим зятем, но звонил друг молодости по имени Эдик. Вообще-то он был Индустрий, но это имя оказалось очень громоздким, непрактичным для каждого дня.

В трубке шуршало и потрескивало, голос доносился откуда-то издалека, и тете Клаве казалось, что Эдик звонит с того света, его голос пробивается сквозь миры.

— Ты что делаешь? — кричал Эдик так, будто они расстались только вчера, а не тридцать лет тому назад.

— Я? — удивилась тетя Клава.— Телевизор смотрю.

— Приезжай ко мне в гостиницу «Юность»,— пригласил Эдик.

Тетя Клава представила себе, как пойдет по гостинице в своем немодном бостоновом пальто, а дежурная по этажу спросит: «Вы к кому?»

— Лучше приезжайте ко мне,— пригласила тетя Клава.

Первый раз она увидела Эдика перед войной, на физкультурном параде. Эдик бегал с рупором и командовал физкультурниками, а они его слушались. Он был одет в белую рубашку, белые брюки и белую кепку — весь белый, вездесущий, овеянный обаянием власти.

Тетя Клава увидела его, обомлела и уже не могла разомлеть обратно. Она целый год бегала за Эдиком, а он от нее с той же скоростью, и расстояние между ними не сокращалось ни на сантиметр. И даже когда он обнимал ее и каждая клеточка пела от близости, тетя Клава все равно ощущала эту дистанцию.

А в один прекрасный день Эдик сильно вырвался вперед и исчез. Тетя Клава осталась без него с таким чувством, будто у нее холодная пуля в животе: ни дыхнуть, ни согнуться, ни разогнуться. Потом пуля как-то рассосалась, можно было жить дальше.

Тетя Клава вздохнула и поставила на огонь картошку. Хотела было переодеться, но посмотрела на себя в зеркало и передумала, только сильно напудрилась пудрой «Лебедь», так что нос стал меловым, а стекла очков пыльными.

В дверь позвонили.

Тетя Клава отворила. На пороге стоял человек с портфелем, в перекошенном пальто, должно быть, пуговицы были пришиты неправильно. На голове была зеленая велюровая шляпа, поля ее шли волнами, как на молодых портретах Максима Горького.

Тетя Клава не узнала Эдика, но поняла, что это он, потому что больше некому. Они довольно долго молча смотрели друг на друга, потом Эдик прогудел разочарованно:

— У-у-у, какая ты стала!

Тетя Клава смутилась и немножко расстроилась. Ей в глубине души казалось, что она меняется мало. Меньше, чем другие. Эдик прошел, снял пальто и шляпу. Он оказался лысым, в модной водолазке из синтетики.

— А еще говорила, что ты в Москве живешь,— упрекнул Эдик.

— Очень хороший район,— заступилась тетя Клава.— Здесь даже иностранцы живут, из Африки.

— В Африке и не к тому привыкли. Там у них вообще пустыня Сахара.

Прошли в комнату.

На подоконнике на своих высоких нежно-желтых ногах стоял петух и смотрел в окно. На вошедших он не оглянулся, видимо, его что-то сильно заинтересовало во дворе.

— А у вас что, готовых кур не продают? — удивился Эдик.

— Продают,— сказала тетя Клава.

Прошли в кухню. Там было теснее, уютнее.

Эдик расстегнул портфель, достал оттуда водку и миноги. Миног было ровно две штуки, одна для Эдика, другая для тети Клавы.

Тетя Клава поставила на стол все, что случилось у нее в доме: соленья с базара, холодную баранину с чесноком, рыбные котлеты, которые при некотором воображении можно было принять за куриные. Картошку она слила, потом подсушила на огне, бросила туда большой кусок масла, толченый чеснок и потрясла сверху молотыми сухарями.

Выпили по рюмке.

— У-у-у! Какая ты стала! — снова сказал Эдик, отфыркиваясь. Может, он решил, что тетя Клава не расслышала первый раз.

Ей хотелось сказать: «На себя посмотри!»,— но смолчала, положила ему на тарелку кусок мяса в красновато-золотистом желе.

— А ты хорошо живешь! — похвалил Эдик.

— А вы как?

— Публицистом стал. Я по издательским делам в Москву приехал.

Эдик поставил портфель на колени, вытащил оттуда брошюру с черной бумажной обложкой. На обложке белыми буквами было написано: «Участок добрых воспоминаний».

— А что это за участок? — спросила тетя Клава.

— Кладбище,— сказал Эдик и стал есть.

Тетя Клава из вежливости подержала брошюру в руках.

— Все на ярмарку,— проговорил Эдик.— А я с ярмарки.

— С какой ярмарки? — не поняла тетя Клава. Ей почему-то представился Черемушкинский базар.

— Жизнь прошла,— сказал Эдик.— И ничего хорошего не было...

— Все-таки что-то было.

— А помнишь, как ты меня любила? — неожиданно спросил Эдик.

— Нет,— отреклась тетя Клава.— Не помню.

— А я помню. Меня больше никто так не любил.

— А жена у вас есть? — спросила тетя Клава.

Эдик рассказал, что похоронил жену, и заплакал. Тетя Клава посмотрела на его рот, сложенный горькой подковкой, как у ребенка, и заплакала сама. И в кухню на цыпочках пробралась тихая уютная печаль.

— Хочешь поженимся? — вдруг предложил Эдик.

— А зачем? — наивно удивилась тетя Клава.

— Стариться будем вместе.

— Но я уже не люблю тебя,— извинилась тетя Клава.

— Так я же не любить зову, а стариться,— объяснил Эдик.— Тоже мне, невеста...



— Я вас смолоду звала стариться,— обиделась тетя Клава.

В кухню вошел петух. Видимо, ему надоело стоять на подоконнике.

Петух затрепетал крыльями и взлетел, рассчитывая сесть на спинку стула, на свой привычный насест. Но стул оказался занят гостем. Петух взлетел чуть повыше и сел на плечо Эдика. Эдик дернул плечом, петух свалился на тарелки. Эдик брезгливо взял его за крыло двумя пальцами и швырнул в угол кухни.

А дальше все развивалось очень быстро и одновременно очень медленно.

Петух полежал в углу кухни какое-то время, секунды три или четыре, потом подхватился и, вытянув шею, очень быстро перебирая ногами, устремился к Эдику и клюнул его в ногу, под колено.

Эдик брыкнул ногой, петух отлетел на прежнее место, и у него снова появилась необходимая дистанция для разбега.

— У меня тромбофлебит! Он проклюнет мне вену! — воскликнул Эдик и, продолжая сидеть, затанцевал ногами, чтобы уменьшить вероятность попадания.

Тетя Клава метнулась в прихожую, сорвала с вешалки свое пальто, чтобы накинуть на петуха или на Эдика в зависимости от расстановки сил.

Когда тетя Клава вернулась на кухню, то застала следующее зрелище: петух взлетал до уровня лица, а Эдик болтал перед собой руками, будто учился плавать по-собачьи. Они дрались, как два врага, и белые перья, элегантно планируя, летали по кухне.

Тетя Клава ринулась в эпицентр борьбы и выскочила обратно, прижимая к себе петуха. Он гортанно клокотал в недрах пальто и порывался обратно в бой.

Эдик без сил опустился на стул.

— Невоспитанная тварь,— простонал он.

— Вы сами первый начали,— заступилась тетя Клава.

Эдик обиделся, встал и вышел в прихожую.

Он натянул пальто, затолкал пуговицы в большие расхлябанные петли, накрыл голову шляпой и ушел.

— Жених! — с пренебрежением сказала тетя Клава в закрытую дверь.— Писатель!

Она выпустила петуха на пол. Потом подошла к окну и раскрыла форточку, чтобы проветрить дом. За окном было черно. Ветер давил на стекла. Был такой ветродуй, как в шторм в открытом море. Говорили, что в Юго-Западном районе встречаются два ветра — южный и западный, и роза ветров проходит как раз над их кварталом.

Тетя Клава представила себе, как Эдик идет, придерживая шляпу, рассекая лбом ветер. Вспомни-

ла его серьезные намерения по отношению к ней, и ей стало его немножко жалко.

На краешке стола лежали забытые им очки в простой темной оправе. Тетя Клава схватила их и побежала из дома.

Догнала Эдика на остановке, когда он уже влезал в автобус, сунула ему в карман очки.

— Когда мы с тобой встретимся? — крикнул Эдик.— Где?

Тетя Клава внимательно посмотрела на шляпу, которая венчала голову Эдика вместо белой кепки его молодости.

— На участке добрых воспоминаний,— крикнула тетя Клава и побежала обратно, подгоняемая попутным ветром, получая от бега забытое удовольствие.

Когда тетя Клава вернулась домой, петух ее не встретил.

Форточка покачивалась и скрипела. На подоконнике, белое на белом, лежало легкое перышко.

Тетя Клава почувствовала, как все замерло, остановилось в ней, все органы как бы прекратили свою привычную работу.

Она отомкнула шпингалеты, рванула на себя балконную дверь. Посыпалась труха, обнажилась серая пыльная вата.

Тетя Клава вышла на балкон, посмотрела сначала вверх, потом вниз. Петуха не было нигде.

Был виден пустырь под куполом неба и четыре дома, четыре одинаковые высокие башни. Последний дом выстроили за зиму, пока балкон был закрыт.

Тетя Клава перебралась на соседний балкон и постучала в окно.

Долго ничего не было видно, потом шторы разомкнулись, как кулисы, и за стеклом возникли соседи тети Клавы, студенты-молодожены. Они стояли голова к голове, как перед фотообъективом, и смотрели на выступающую из мрака фигуру тети Клавы со вздыбленными от ветра волосами.

— Что случилось? — спросил молодой человек и отворил балкон. Одной рукой он придерживал балконную дверь, а другой прикрывал ноги тюлевой занавеской, и зто одеяние делало его похожим на индуса.

— У вас кошка дома? — спросила тетя Клава.

— Она спит,— сказала девушка.— А что случилось?

— У меня цыпленок пропал,— сказала тетя Клава.

Молодые люди с удивлением смотрели на свою соседку. Сквозь беспечность и згоизм молодости они каким-то образом расслышали, что у тети Клавы все остановилось внутри.

— Украли! — посочувствовала девушка.

— Нет. Сам ушел. Вырос и улетел.

— А где вы его взяли? — спросил сосед.

— На базаре купила.

— Так вы подите на базар и купите себе другого цыпленка,— предложила девушка.

— Но ведь зто будет уже другой цыпленок.

— Ну и что? Он заменит вам прежнего.

— Никого никем нельзя заменить,— сказала тетя Клава.— Даже одного петуха другим...

Дул тугой сильный ветер. Над головой тети Клавы медленно и мощно кружила роза ветров.

Четыре дома, как пилигримы, шли один за другим по краю пустыря.

Юрий Никонычев





В горах

Историю ловедал друг,
Как в грозный год войны недавней
Здесь, где цветет лритихший луг,
Погибли молодые ларни:

Грузин и русский... Минул срок...
Гора беседует с горою,
И здесь, где воздух так высок,
Дыханье слышится лорою.

Как верить хочется, что вы
Живете там, в надзвездной выси...
И вам видны огни Москвы,
Огни вечернего Тбилиси.

✪

Голубая бездна океана
В дали необъятные зовет...
Разрывая лелену тумана,
Звездный камень в бездну уладет.

Мы ллывем в мерцанье этой шири.
Нас качает черная волна.
Две стихии лороднились в мире
На виду у звездного огня.

Океаном дышим в тусклом свете
Дальних звезд в тумане голубом.
Черный воздух и холодный ветер
В этом мире, страшном и лустом.

Океаны... Бездна дышит бездной.
Еле слышны наши голоса...
Но сверкнет лодковою железной
Берега живого лолоса.

✪

Как Демон, самолет летел
Над остывающей землею
И с высоты ночной глядел
На все, что было лод луною.
Он видел россыпи огней
Столицы, лолоненной светом,



Ольга
НЕМИРОВСКАЯ

МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ АЛА-ТОО

Ни один из видов искусства не развивается изолированно: музыка, литература, кинематограф, театр, живопись — все они испытывают взаимное воздействие, потому что питаются одними корнями, уходящими в глубины народной жизни. Полтора-два десятилетия назад о киргизской прозе заговорили во всем мире; кинофильмы, снятые на студии «Киргизфильм», обошли экраны четырех континентов, а еще раньше поэтическая живопись Семена Чуйкова вместе с полотнами Гапара Айтиева открыла неповторимую красоту людей и природы Ала-Тоо.

И сегодня молодые художники Киргизии демонстрируют новые успехи в развитии национальной школы живописи. Она вбирает в себя тысячелетние традиции народного искусства и смело использует высокую эстетическую культуру нашего времени. Молодые мастера братской республики творчески осваивают многообразные художественные искания русской живописи двадцатого века, добиваются подлинного драматизма колорита, находят монументальные решения в самых, казалось бы, бытовых темах.

Посмотрите на группу девушек в картине Джамбула Джумабаева «Юность». Изящные, грациозные, преисполненные чувства собственного достоинства, они говорят нам многое о громадных сдвигах в социальной и духовной жизни Советской Киргизии за последние полвека. Эти девушки-студентки выросли на земле, где когда-то господствовали жестокие байски-феодальные нравы, где женщину за небольшой калым покупали и продавали...

Джамбул Джумабаев усиливает монументальное звучание картины, изображая девушек на фоне ренессансной арки. Непосредственность сцены при этом сохраняется благодаря сдвинутой симметрии: фигуры девушек смещены в левую часть композиции, открывая зрителю обобщенный киргизский городской пейзаж. Он столь же важен для понимания замысла художника, как и фигуры на первом плане.

Молодые живописцы Киргизии, родившиеся в конце тридцатых — в начале сороковых годов, практически не помнят войны; их детство совпало с обновлением послевоенной жизни; их юность отмечена обостренным интересом к духовному миру народа в неодолимом движении к лучшему будущему. Профессиональное созревание их проходило в атмосфере смелых творческих исканий, характерных для советского искусства последних полутора десятилетий, в обстановке бережного изучения лучших народных традиций и современных живописных открытий.

Пятеро молодых художников, картины которых представлены на нашей цветной вкладке, убеждены, что живопись собственными средствами, своим языком способна многое рассказать и выразить: красоту родной земли и духовное самочувствие человека, отношение художника к миру, одним словом — запечатлеть жизнь в ее волнующих моментах. В деталях быта, одежды, интерьера, пейзажа художники воплощают свое время, будет ли это жанровая картина Амана Асранкулова, полная покоя и света, или портрет булочницы Абдрая Осмонова с ее смелым, независимым взглядом, или более глубокие по мысли картины Николая Евдокимова и Сабитжана Бакашева.

Прихотливое переплетение примет настоящего и недавнего прошлого, старых дедовских традиций и благоприобретенных привычек сегодняшнего труда чувствуется в картине Н. Евдокимова «Гостей ждут». В позах молодых супругов, сидящих на кошме в современной комнате, художник с улыбкой замечает немало общего, которое вырабатывается годами совместной жизни. Картина лаконична, в ее композиции и цветовой гамме ощутимы отзвуки творчески переосмысленной древней средневосточной миниатюры. Художник с интересом вглядывается в своих сверстников, находя в них нравственную красоту и значительность.

Серьезную задачу ставит перед собой и решает во многом успешно С. Бакашев в картине «Горы поют». Звонкая красочная палитра, щедрая живопись выражают мироощущение молодого нашего современника, влюбленного в цветущий край Ала-Тоо, где песни гор и степей слились с гимном новому, социалистическому человеку.

Живописцы, графики и скульпторы Киргизии смело расширяют диапазон творческих исканий, стремясь проникнуть в тайны языка искусства, чтобы воплотить в своих произведениях правду времени. Показанные на выставке картины молодых мастеров братской республики убеждают в том, что первые шаги на этом пути сделаны.



Владимир
ОГНЕВ

ТАК НАЧИНАЛ ТВАРДОВСКИЙ

В этом месяце исполняется пятьдесят лет с начала творческой деятельности Александра Трифоновича Твардовского. 19 июля 1925 года в газете «Смоленская деревня» было напечатано его первое стихотворение—«Новая изба». Автору было пятнадцать лет...

Публикуя в этом номере первые поэтические опыты Твардовского, любезно предоставленные журналу вдовой поэта, Марией Илларионовной Твардовской, мы рассчитываем открыть этой публикацией цикл выступлений «Юности» о том, как начинали свой творческий путь выдающиеся художники.

Воспитательное значение этого шага неоспоримо. Однако сознаюсь, не без некоторого душевного трепета начинаю я свой рассказ. Дело в том, что, как правило, первые опыты даже очень большого писателя остаются... первыми опытами, то есть не всякий художник уже в ранние годы заявляет о себе тем своеобразным голосом, который впоследствии станет приметой значительной и неповторимой индивидуальности. Период ученичества, подражания проходят все.

Есть известная опасность в такого рода публикациях. С одной стороны, наивность и некоторая угловатость выражения когда-то бывшего начинающим большого поэта способна словно бы сделать его еще ближе читателю, вызвать ответное теплое чувство родства и взаимопонимания («выходит, и он был почти как все...»), но, с другой стороны, по известной пословице о том, что не боги горшки обжигают, всегда находятся недалеке гордецы, готовые тут же сделать свой вывод: «Эге, так и мы можем...» Как ему объяснишь, такому гордецу, что так, да не совсем так! Что в том-то и штука, что талант, во-первых, всегда светится даже сквозь словесный сор, чужие напластования, а во-вторых, талант предполагает и мощное развитие — огромный труд своего воплощения, самовыявления, готовности к жертвам и риску.

Творческая воля — тоже слагаемое таланта. Но сколько их, этих слагаемых! Поверить в свое призвание и подчинить жизнь ему — не единственная гарантия успеха.

«В развитии и росте моего литературного поколения,— писал Твардовский,— было, мне кажется, самым трудным и для многих моих сверстников губительным то, что мы, втягиваясь в литературную работу, выступая в печати и даже становясь уже «профессиональными» литераторами, оставались людьми без сколько-нибудь серьезной общей культуры...» Ах, как много сегодня пишущих, которым попросту нечего сказать людям, потому что читатели знают больше них. Глубже понимают окружающую жизнь, тоньше чувствуют, дальше додумывают современные проблемы, различают подлинные конфликты, руководствуются прочными ориентирами. Твардовский называл «опасными иллюзиями» весьма распространенную и ныне, к сожалению, «поверхностную начитанность» и «некоторую осведомленность».

Талант — это магнит, собирающий к себе не только опыт живого наблюдения, но и исторический опыт народа, закрепленный в культуре. На всю жизнь сохранил Твардовский «вкус карандаша»! Но, в отличие от «вкуса» к нему графоманов, он прежде испытал ни с чем не сравнимую «радость приобщения к миру идей и образов, открывшихся... со страниц книг, о существовании которых... ранее не имел понятия».

Значит, талант — это путь. Неостановимый ни на мгновение. Потому что остановиться здесь нельзя. Остаться в прошлом невозможно. Перестать радоваться новому знанию и опыту — исключено... То есть, собственно, почему нельзя, невозможно, исключено? И возможно и не исключено. Только тогда уже речь пойдет не об осуществлении таланта, а о его гибели, растрате.

Становление таланта — может быть, самое главное в судьбе художника.

Вот почему с таким пристрастным и волнующим участием обращаемся мы к истокам творческого пути больших мастеров искусства. Что было вначале? Что пришло потом? Как связаны будут воедино молодая дерзость с седыми «заветами старины», которые наследует каждое поколение, каждый насто-

ящий художник? Что и в каком направлении менялось на пути к зрелости?

Есть литераторы, творческое развитие которых протекает, так сказать, кризисно, неравномерно, противоречиво. Есть, напротив, последовательное, постепенное, но неуклонное стремление к давно, порой как бы изначально, намеченной цели. Первые — дарования нервические, склонные к неустойчивости и метаниям, пробующие далеко от своей натуры, своего опыта. Второй тип устойчивее, органичнее.

А. Твардовский принадлежал ко второму типу художника. Он «рос», как растет зерно, поочередно побывав проклюнувшимся росточком, стеблем, колосом, в котором, в свою очередь, набухают зерна для нового посева. С первых шагов поэт почувствовал, что «предметом поэзии может и должна быть окружающая... жизнь... собственный мир впечатлений, чувств, душевных привязанностей». И еще это: «существенная объективная тема». Пример М. Исаковского, говорил потом А. Твардовский, «обратил меня в моих юношеских опытах к... стремлению рассказывать и говорить в стихах о чем-то интересном не только для меня, но и для тех простых, не искушенных в литературном отношении людей, среди которых я продолжал жить».

Тут едва ли не самое важное это: «среди которых я продолжал жить»... Жить среди людей означает для художника совсем не то, что мы часто понимаем под «связью с жизнью», «творческими командировками» или даже постоянным проживанием вдали от культурных центров. Жить среди людей — значит не потерять духовной связи с народом, его нуждами, запросами, его естественным требованием счастья. Как говорится, еще вопрос, где Твардовский ближе к простым, не искушенным в литературном отношении людям — в ранних поэмах, до известной степени идиллических этюдах «Сельской хроники», в стихах, написанных, как мы говорим, в гуще действительности, где-нибудь на станции Починок, или в произведениях второй половины пятидесятых — шестидесятых годах, созданных уже знаменитым, зрелым поэтом? Да и вопроса-то нет. Разумеется, Твардовским зрелым, хотя тут и мысль сложнее и нет «доходчивого» фольклоризма.

Кажется кощунственным задать вопрос: можно ли быть ближе народу, чем в гениальном «Теркине»? Но разве лирика шестидесятых годов «дальше» от него? Едва ли. Просто там была одна «связь», здесь другая. Да и народ продвинулся к новым вопросам жизни.

Как-то вспоминал Александр Трифонович об одном случае. Попытался он подладиться ко вкусу одного старого крестьянина, нажимая на доходчивость, доступность изложения — «с его слов было написано». А получилось, оказывается, конфузливое положение: и крестьянину и поэту было потом неловко. Свойство серьезного таланта — непреднамеренность. Можно быть народным. Стать народным нельзя. Тут все заложено уже в сути художника, в его нравственном, начальном опыте личности. Твардовскому и не надо было стараться быть проще, нежели он был, становился.

И существенность высказывания, толстовское определение «общеинтересного людям» тут кстати. Оно ведь тоже рождается не из заведомого задания говорить об этом «существенном для всех», а из потребности. Надо сначала чувствовать своим, личным, больным, насущным это общее. Если ты убежден, что знаешь свой предмет, а он важен многим, приходит и уверенность в необходимости творческого высказывания, поступка словом.

В 1945 году А. Твардовский сказал: «Я считаю так, что — придет Пушкин — станем по команде «смирно», шапки снимем, пожалуйста, милости просим. Но пока он не идет, пока нет его, до тех пор ничто не дает мне права передоверять высказывания моего сердца, мои мысли будущему Пушкину». А в 1958 году эта же по сути мысль излагается стихом:

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.
А я лишь смертный...

Но этот «смертный» человек, Твардовский, имел твердый характер, творческое упрямство уже в юности.

Вот — из стихов, помеченных 1967 годом:

Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчетов...

Вчитайтесь в стихотворение 1930 года «Новый работник». Не только общий ключевой образ — та же пристальность всматривания в людей, та же готовность ревниво отстоять свое право «дознаться», докопаться самому до сути дела, которому служишь.

Не терпел самолюбивый юноша тягостной опеки любителей «подсказать», «помочь» в том, в чем в пору самому разобраться, что не требует помощи, а скорее связывает инициативу... Только ли «частное» это (1930 г.) происшествие с молодым специалистом, новым работником суда? Да нет, видимо. В неловких оборотах раннего стихотворения («что смотрят они за мной» вместо «на меня», или «мне во след»; «здороваюсь там, за стеной» — в смысле «войдя в кабинет»; «работать поздно в привычку вошло» — в значении «допоздна») есть лишь намек на то, что начальник нашего героя-практиканта — человек излишне осмотрительный, как потом стали говорить, перестраховщик:

Он что-то желает сказать в стороне,
Хотя мы находимся наедине.

Юный герой юношеского сочинения «неопытней и моложе» своего старшего опекуна. Тут пока спокойная жанровая зарисовка, попытка подметить какую-то черточку служебных отношений, не более. Но в свете позднего общественного опыта—нашего и самого поэта — это стихотворение Твардовского воспринимается и как начало важной нравственной темы его поэзии: темы права личности, ее долга сделать собственный вклад в общее дело народа.

В ранних стихах Твардовского заложено многое. Например, его психологическая приметливость, цепкость глаза на такие детали: «пока, просыпаясь в вагоне, они узелки берегут»; «шикарно,— откинувшись в сани, заправиться сеном сухим. И зимними ехать лесами, и выглядеть городским»; «а к ночи, восторженно скоро, часов не заметив в пути, вчерашнего дня городского невымерзший запах внести». Это из не публиковавшегося ранее стихотворения «Каникулы» (1928). А вот — из другого, «Новоселье» (1929): «Покрикивал на лошадь ломовик,— он за рублевку был горяч и весел...» Или:

Никто не мог и не хотел скрывать,
Увязанную под колени
Просторную семейную кровать —
Исток последующих поколений.

Глаз целомудренный, еще не привыкший к городу с его поправками в области патриархальной нравственности. «И, может быть, внизу под барахлом, от

слез поскленились в отчаяньн немом родные обитатели альбомов». Отрыв корней, даже такой, как переезд на иовую квартиру, дается с той долей серьезного винмаиня к чувствам «обитателей» (оии н в альбоме, иа фотографнях семейных прнвыкли к «оседлости»; и альбом — дом), с какой потом, через много лет, будет показаи иепростой процесс «акклиматизацин», иовой прописки на земле человека, имеющего старые связи,— тема фнлософская в такой же мере, как и глубоко социальиая. Я имею в вbelieve стихотворенне «Новая земля».

Юношеские стнхн Твардовского дают портрет героя, смело прниимающего иовое, шагиувшего в город без опаскн. Позт знает, что показ реальиой сложности переживаннй, связанных с зтнм процессом, нуждается в таком же правдивом и честном слове поззни, как и любой другой объект ее винмаиия. «Крестьянское» иачало в поззии Твардовского было несколько преувелнчеио. Он гораздо раиьше, чем это казалось миогим, вышел к общезиачимой, общеиародиой поззии. Да, собствеино, народиое в ием иикогда н не сводилось к крестьяискому, узко поиимаемому, как устон прошлого опыта. Только в отлнчие от миогнх «торопыг», которые ему всегда претнли, позт реально видел н хотел реально же передать портрет новой судьбы крестьяиина, человека нз народа.

Открыта дверь.
Войдите ж посмотреть,
Куда теперь придете вы к нам,
Где мы должны к столу привыкнуть
И обряжать рождение и смерть.

(«Новоселье», 1929)

От зтнх строк — к стнхам 1951-го:

На новых землях, в стороне, открытой
Для счастья людям, долго жизнь трудна.
И кажется она им необжитой,
И помнится иная сторона.
И нужен срок, чтоб здесь окорениться,
Чтоб жизнь иною памятью облечь.
И новым детям нужно тут родиться,
И должно дедам в эту землю лечь...

(«Новая земля»)

Только юноша Твардовский говорил о том, что трудио прнвыкиуть к новому быту, а зрелый Твардовскнй видел за далью лет даль самой Истории нашего общества...

Так все у него развнвалось — нз одного корня. Но вшира, вглубь, расходясь кругами, как зхо, дальиее зхо временн, как кругн по воде — все большим захватом опыта, мыслн, чувства.

Но начало-то было здесь. И жест, прямо из наблюдення перенесенный в стихн (старик на пчельинке: «он отбивался: правая рука, казалось, лазнла по всем карманам»); н желание запечатлеть увиденное прозаическн точио, не заботясь о «позтнчиости»: «Мне в сетке спецнальиой без привычкн дышалось трудно, появлялся пот, в лицо мне пчелы чиркалн, как спички, и на мон саидальи капал мед». Пусть трогательно-неуклюже зто — «появлялся пот», зато как хорошн «чнркающие, как спнчки», пчелы! В одном из стнхотворений («Суд») — «сосед... в плечах от возбужденья сжат». Ннкогда не забуду, как говорнл мне Самуил Яковлевич Маршак о сцене нз «За далью — даль»: «Кто, кроме Твардовского, мог сказать так, голубчнк: «К нему работаю плечом...»? Ннкто!»

Так шлифовалось то, что уже было в зачатке, в зародыше: уменне видеть жест, позу, жнвое движенне, выражающее состояние героя!..

Любопытио, что некоторые места раннего Твардовского обиаруживают влияиия современиых ему позтов, которые впоследствнн никак ие будут сопрнкасаться с инм. Напрнмер, разве зто не Хармс илн раииий Заболоцкий?

А вы, прямой и аккуратный,
Уже готовите конец,
Совсем не думая заметить,
Что сами вы на этом свете
Супруг, товарищ и отец.

(«Доклад», 1929)

В 1923 году опублнковано знамеиитое стихотворенне Ннк. Ушакова «Кладбище паровозов» («Железиые листы дрожат едва—их точит ржа и ветер зыблет шалый, и поросла зелеиая трава, где прежде сердце пламенем дышало»). А вот Твардовский:

Последний
Вздох паров.
Вагоны двигались,
Пока
Их торопил огонь,
Потом
Ржавели в тупиках,
Уставши от погонь.

(«Поезда», 1929)

Любопытно и это, неожиданно «мартыновское», усвоенне разговорного языка: «Мне отвелн покой на сеновале и, как мне спится, ночью узнавалн. И говорили:— Хорошо на сене! — и добавляли, стоя у ворот, что был удачен сенокос весенннй...» («Лето в коммуне», 1929).

Не обязательно тут могло быть заимствование, скорее знаменательные переклнчкн, родство поисков естественностн живой речи или сходный опыт.

Публикуя первопечатное будущего мастера, мы вовсе не хотнм превозносить любую строку юного позта, так сказать, натягнвать качество. Сам Твардовский не был бы Твардовскнм, если бы не сказал об зтих стнхах: «...Необходнма оговорка, что пнсал я тогда очень плохо, ученическн беспомощно, подражательио». Но, как убеждаемся ныне, поучнтельными оказываются цельность натуры, еднНство нравственного отношения к жнзни и задач поззни, обиаруживаемое в сравнении раиних стихов Твардовского с классннескимн теперь его образцами.

Путь Твардовского совсем не был простым н гладким. И не только в том смысле, что наращнвалось мастерство, расшнрялся кругозор, глубже становнлся взгляд на жизнь. Это злементарно. Духовное развнтне личностн сопровождалось серьезными раздумьямн над серьезными же проблемами роста общества. Это не могло не оставить иа творчестве художника отпечатка драматизма н конфлнктности.

В самом первом стнхотвореннн, с которого начал я разговор о раннем Твардовском, в «Новой избе», размашнсто и начнсто былн сняты нконы, зта «дедовская плесень». Но на нх место... повешен портрет вождя. «Из угла будет Ленин глядеть»... Пнсал зто, напомним, пятнадцатнлетний мальчнк, от всей душн выражая таким образом свое сыновнее почтенне н любовь... Сравинте прекрасное стихотворенне «Леинн н печнпк», зто хрестоматнйное выраженне действнтельно нового времеин, нового отношення к велнкому человеку, стихотворение, под которым стоят две даты, 1938—1940, с «Новой нзбой» н поймете, в чем тут разинца прннцнпиальная. «Знал его любой», «с кем нн встретится, любил поздороваться душевно», «за версту— как шел пешком — мог его узнать бы каждый»,

«...да у Ленина за чаем засиделся,— говорит...»? Это еще 1938 год, конечно. Наш герой, старик печник, понатерпелся страху нешутейного, узнав, что куражился он над самим Лениным, который случайно ногой ступил на луговину. Сам печник до какой-то степени не освободился еще от, как говорится, «пережитков» старого мира: «А печник и рад отчасти, — по-хозяйски руку в бок,— ведь при царской прежней власти пофорсить он разве мог?» Он, как видим, и сам попугать был не прочь, эта возможность показать силу и власть — вся шла от векового неравенства людей, снизу доверху, так сказать. Так что и спрос с печника, видел это поэт, небольшой. Он недаром юмористически проследил всю эту коллизию с ложным страхом и таким человечным, таким трогательным в своей наивной, но и знаменательной гордости близостью своей к Ленину,— финалом исповеди «простого» человека. Потом же будут у Твардовского другие стихи, другие попытки решить для себя эту тему на личности другого склада. Не получалось. Честно, искренне, как всегда, Твардовский выносил на люди эти свои раздумья и, наконец, последнее, одно из последних, о «тетке Дарье» в поэме «За далью — даль»... Или «Береза» («На выезде с Кремлевского двора...»). Я думаю, что тут достигнуто почти идеальное равновесие между историческими масштабами и местом личности в справедливом ходе событий государственного значения. Гуманизм художника не спорит с логикой державных интересов, но освещает события истинным светом, дает подлинную иерархию ценностей. «Неприметная береза» — символ жизни народа, вечности наследования нравственных заветов, кстати, редкое исключение новаторского использования примелькавшегося образа «березки».

На этих достаточных, я полагаю, примерах видно, как начинался Твардовский, видна логика его творческого развития, видно, в каком направлении двигался этот могучий, истинно русский, народный талант.

Александр
ТВАРДОВСКИЙ

Юношеские стихи



Родная картина

Куда ни глянь — открытые для взора,
Бегут поля в полосках межевых...
Серебряными блюдами — озера
Расставлены в прогалинах сырых...
Ничуть не подрастающий сосонник
Засыпал редко луговую даль...
Здесь, словно резвые и молодые кони,
Промчались детские мои года...

У кладбища, сгущаясь синим бором,
Сосонник говорлив и жутко тих...
Болота...
И болотные озера
Серебряными блюдами на них.

Газета
«Юный товарищ»,
Смоленск,
11 мая 1927 г.

Севастопольские стихи

Белый домик, белый городок,
Бепые дымящиеся стежки.
Как далек, немыслимо далек
Ровный край ячменя и картошки.

Воздух, горьковатый, как миндаль,
День, как море — попон и просторен.
Никогда, никто мне не ловторит
Ни строкой, ни краской эту дапь.

Над узором этих мелких строк
Я сижу у низкого окошка...
Бепый домик, бепый городок,
Белые дымящиеся стежки...

1928.
Публикуется впервые.

Каникулы

Остынут сухие ступени,
Нагретые шарканьем ног.

Пустынный локой опустенья.
На срок онемевший звонок.

Часы никого не тревожат
И тикают для себя,
Но сторожа раньше уложат
И честно его усылят.

Ему благодатно остаться,
Покамест не торолят...
А там, у встревоженных станций
Подводы встречают ребят.

Пока, просылаясь в вагоне,
Они узелки берегут,
Сгрудятся на коновязь кони
И сено затопчут в снегу.

Шикарно,
откинувшись в сани,
Заправиться сеном сухим.
И зимними ехать песами,
И выглядеть городским.

А к ночи восторженно скоро,
Часов не заметив в лути,
Вчерашнего дня городского
Невымерзший залах внести.

1928.
Публикуется впервые.

Новоселье

Бессменный ло кварталу лочтальон
От этой двери отойдет с досадой.
И на минуту будет удивлен,
Узнав о переезде адресата.

Он адрес лерепишет, и лотом
Его коллега ищет новый дом.
Таков конец. И леремены нет.

Квартирный мир закончил разговоры...
А выезжавшим поклонились вслед
Окраинные шаткие заборы.

Покрикивал на лошадь ломовик —
Он за рубпевку был горяч и весел,—
А на возу дрожали связки книг,
И свернутый мпаденцем половик,
И туловища инвалидов-кресел.

Никто не мог и не хотел скрывать
Увязанную лод колени
Просторную семейную кровать —
Исток лоследующих поколений.

Казалось, вывезено все на слом,
Освобождая нужный угол дома.
И, может быть, внизу под барахлом.
От слез лосклеились в отчаяньи немом
Родные обитатели альбомов.

Открыта дверь,
Войдите ж посмотреть,
Куда теперь лридете вы к нам,
Где мы должны к столу привыкнуть
И обряжать рождение и смерть.

1929.
Публикуется впервые.

Поезда

В предутренний ненастный час
Мы чувствуем сквозь сон,
Как ларовозы, горячась,
Грохочут лод уклон,
Как лод колесные лады
Дрожит сухой лесок.
И медленно влолзает дым
На встреченный лесок.
Мы лонимаем, что всегда —
Сквозь ветры, дождь и снег —
Не замедляют поезда
Неустающий бег.
И сотни верст перебежав,
Окутав гарью стель,—
Один какой-нибудь состав
Везет столицам хлеб.
А где-то —
На пути другом —
Другой
Гремит в ответ.
И лахнет нефтью и углем
Его дрожащий след...
Колеса весело стучат
Неукротимый такт.
И лять и десять лет назад
Они стучали так.
Они выстукивапи то ж
Над тихим стоном шпал,
Когда
Свинцовый гладкий дождь
Вагоны осылал.
Когда
На голод, кровь и тиф,

Хрипя от мерзлых дров,
Сдавал в пути локомотив —
Последний
Вздох паров.
Вагоны двигались,
Пока
Их торопил огонь,
Потом
Ржавели в тупиках,
Уставши от погонь.
В какой-то день
Пришли туда
Большие мастера.
И оживали поезда,
Вставали на «ура!..»
Был радостен
Под песню труд,
Под песню день работ...
Да, песни многие умрут,
Но эта —
Не умрет.
Она переживет года
И не сгорит в огне.
Ее напомнят поезда,
Как в это утро мне.

Газета «Юный товарищ»,
8 декабря 1928 г.

Лето в коммуне

Мне отвели покой на сеновале
И, как мне спится, ночью узнавали.
И говорили:
— Хорошо на сене! —
И добавляли, стоя у ворот,
Что был удачен сенокос весенний.
— Ну, спите, спите... Славный нынче год.
Хороший год!
Явился я в июне
И лето провести решил в коммуне.
В поповской шляпе и в костюме белом
Брожу среди общественных угодий
И занимаюсь пустяковым делом
По доброй воле,
По своей охоте.
Случилось так,
Что я оставлен был
На пасеке.
Придумано чудесно!
Я деду-пчеловоду подсобил
Копаться в ульях, как игрушки, тесных.
Мне в сетке специальной без привычки
Дышалось трудно, появлялся пот,
В лицо мне пчелы чиркали, как спички,
И на мои сандальи капал мед.
Я отступил на шаг от старика,
Он отбивался: правая рука,
Казалось, лазила по всем карманам.
А пчелы яростно вились над ним.
И руки мне он подавал под дым.
Довольно дыму!
Кончена работа.
Мы улей закрываем и вдвоем
По саду в гору медленно несем
Тяжелые, сияющие соты.
Я угощал моих хозяев медом
За белыми столами у сарая,—
И шуткою удобной поощряя,
Меня назвал он
Младшим пчеловодом.

«Огонек»,
13 октября 1929 г.

Новый работник

Рабочий район. Приезжему,
Еще человеку свежему,
Найти б, отыскать приятелей,
С которыми столько-то лет назад
Работали — да! На одном предприятии,
Не шуточки, так сказать!..
А я впервые приехал сюда —
Новый работник суда.
И принял меня по письму человек:
На первое время,
На первый ночлег.
Сплю на коротком, скользком диване,
Не помещаясь на нем, как в ванне.
Так я с вокзала ехал в телеге,
Выпрямиться не мог.
Спят мои будущие коллеги
Крепко, спокойно, без задних ног.
Завтра в начале служебного дня
Встретят они в учрежденьи меня.

Я подымаюсь легко поутру
И собираюсь быстро.
Портфель, мой новый портфель беру
С шуткой: портфель министра!
До машинисток мне дела нет,
Что смотрят они за мной.
Я прохожу, захожу в кабинет,
Здороваюсь там, за стеной.
А! Я впервые приехал сюда
Новый работник суда!!
Товарищ встает и подходит ко мне.
Он что-то желает сказать в стороне,
Хотя мы находимся наедине.
Слушаю, слушаю.
Вот оно счастье,
Что я неопытней и моложе!
Буду к товарищу обращаться.
Он мне подскажет,
Он мне поможет.

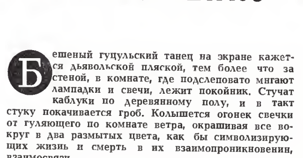
Работать поздно в привычку вошло
И уходить, выключая свет.
В письмах пишу:
Мне тяжело,
Но переутомленья нет.
Тот самый товарищ следит за мной.
Работаем вместе, вдвоем.
И дышит он за моей спиной
Когда я сижу за столом.

Газета «Рабочий путь»,
26 января 1930 г.

Публикация М. И. ТВАРДОВСКОЙ



Павло
МОВЧАН



БУЙСТВО КРАСОК ЮРИЯ ИЛЬЕНКО



Бешеный гуцульский танец на экране кажется дьявольской пляской, тем более что за стеной, в комнате, где подслеповато мигают лампадки и свечи, лежит покойник. Стучат каблуки по деревянному полу, и в такт стуку покачивается гроб. Колышется огонек свечки от гуляющего по комнате ветра, окрашивая все вокруг в два размытых цвета, как бы символизирующих жизнь и смерть в их взаимопроникновении, взаимосвязи...

А перед этим было единоборство, схватка из-за поруганной чести между Иванком и колдуном Юром. Схватка жаркая, хотя и короткая. Сильнейшим оказался Юр, любовник жены Иванка. Однако дело не в драматичности ситуации, а в ее высокохудожественном решении.

Сверкнули два топора и высекли красных коней, которые медленно проплывают по экрану. И внезапно все в корчме — именно здесь происходит схватка — приобрело иные очертания, все окрасилось в размыто-красный цвет. На экране не пролито ни одной капли крови, но создается впечатление, что она струится, заливает все, ощущение настолько явственное, что аж сдавливает горло. Помните?

Я рассказал всего два эпизода, которые (как, впрочем, и все остальные) западают в память и навсегда откладываются в сознании. Оба они — из кинофильма «Тени забытых предков», в котором оператором был молодой Юрий Ильенко, сейчас известный как кинодраматург и режиссер-постановщик, лауреат VII Московского кинофестиваля.

...А все началось с фотоаппарата, подаренного на работе отцу еще до войны. По тем временам фотоаппарат был вещью редкой, а людям темным казался он «глазом сатаны», что фиксировал, останавливал мчащееся мгновение. Перед ним можно было стоять только навытяжку, со значительной миной на лице. Ибо этот «глаз» моментально переадресовывал тебя из быстротечности в вечность. А потому и страх и уважение к нему были вполне закономерны.

Старший брат Вадим присвоил аппарат себе, и Юрий мог пользоваться им только тогда, когда Вадима не было дома. Заглядывая в объектив, мальчик видел нечто необычайное: мир был какой-то странный, все переворачивалось вверх ногами, и четкими были только те предметы, которые находились на определенном расстоянии от тебя. Дерево, дом не вмещались в объектив, и нужно было найти определенную точку и определенное расстояние, для того чтобы дом, в котором ты живешь, можно было охватить взглядом этого «глаза». А еще, в зависимости от угла зрения, странно изменялся мир: дом мог быть наклонен, дерево могло замереть в падении, кот на подоконнике мог превратиться в хищного зверя... О, надо только уметь видеть! А оно, это умение, было и у Юры и у его соседа, одноклассника и друга Толи Ниточкина (теперь это имя хорошо известно в советском кинематографе). У Толи был свой домашний учитель — его отчим А. Зельма, профессиональный фотограф, работавший на «Мосфильме».

Словом, в поисках истоков интереса Ю. Ильенко к кинематографу непременно приходишь к этому ФЭДу, который неизвестно почему подарили его отцу (а почему, собственно, не граммофон?) и который (подумать только!) оказался причиной того, что вся семья Ильенко стала причастной к кинематографу: Вадим — талантливый кинооператор и режиссер, Юрий — оператор, режиссер и кинодраматург, Михаил — оператор и киноактер. Казалось бы, случай с фотоаппаратом можно считать отправным моментом.

Однако не думаю, что, если бы вместо фотоаппарата отцу был подарен граммофон, Юрий и Вадим стали бы певцами и музыкантами. Даже вариант с подарком-балалайкой вряд ли был бы решающим в судьбе детей Герасима Ильенко, инженера-строителя по профессии, исколесившего едва ли не всю страну вместе со своей семьей и наконец перед войной осевшего в Москве, куда он был приглашен автозаводом на работу. Детские впечатления обогащались с каждым новым путешествием. В со-

На снимке: режиссер Юрий Ильенко.

зиании фиксировалась и деревянная архитектура старого Новосибирска, и густо насыщенный красками простор Молдавии, и озвученные песнями горизонты родной Черкассщины.

Как прекрасно чувствует Юрий народную песню, как глубоко воспринимает и различает самые тонкие ее нюансы, как легко расшифровывает песенную метафоричность! И до чего же четко любая музыкальная тема может быть воплощена в изображении, в народном орнаменте!

В орнаменте, так же как и в песнях, свои ритмы, своя законченность, своя драматургия. Слово продолжает линию, песня — орнамент. И вот они уже сосуществуют, дополняя друг друга, создавая единое целое. Юрий понимает это, и потому, будучи уже режиссером, он найдет такие ритмы песенно-музыкального и изобразительного рядов, которые будут наиболее полно воплощать время как категорию национально-эстетическую.

— Структура кинофильма очень сложна, и главное в ней — соответствие элементов, правильная их комбинация,— говорит режиссер.— Путем комбинирования этих компонентов можно получить и серную кислоту и чистую воду. Для одного и того же эпизода — летящих по степи коней — можно подобрать любое музыкальное сопровождение: и дробь барабана, и танцевальную мелодию, и торжественную мелодию марша, а то и просто тишину. Для меня он соотносится с песней «Ой, горе-горе, чайці-небозі, що вивіла діточок при битій дорозі». В моем представлении это оптимальный вариант, и я прихожу к нему не разумом, а сердцем. Оно велит мне именно так, а не иначе.

Веление сердца! Не слишком ли громко? Привычное для уха звучание стереотипа, за которым уже не ощущаешь подлинного содержания. Но это вовсе не так...

После школы Юрий Ильенко поступал в архитектурный институт.

— Черчение сдал на пятерку, рисунок был принят с восторгом, потому что и сам я был в восторге от живописи, и... провалился. Провалился, огорчив родителей, потому что идея архитектурного принадлежала им. Я же мечтал попасть во ВГИК, где учился брат Вадим. И получилось...

О превратностях режиссерской судьбы Ю. Ильенко, о неожиданных ее поворотах, о том, как нелегко их предвидеть и как нельзя запрограммировать саму судьбу, можно говорить долго. Из беседы с Юрием выносишь четкое впечатление: за каждым поворотом судьбы этого художника стоят цельность характера, целеустремленность, сосредоточенность. Чувствуешь, что этот человек не допустит такого положения, когда совершенная ошибка разрастается до бесконечности. И понимаешь, что сердце сердцем, судьба судьбой, однако независимость и трудолюбие отнюдь не последние качества в формировании творческой личности Ю. Ильенко, чье имя сегодня связывается с развитием украинской национальной школы в кинематографе. В свое время многие критики (М. Блейман, например) предрекали Ю. Ильенко неминуемый кризис, утверждая, что эта школа «приговорена» к узкому стилизаторству. Но последние работы Ю. Ильенко — «Белая птица с черной отметиной» и «Наперекор всему» — убеждают в обратном.

Безусловно, фильмы Ю. Ильенко в первый момент ошеломили и на какое-то время дезориентировали и зрителя и критиков своей подчеркнутой пластичностью, образной густотой, динамичностью. Работы эти отнесли в разряд «странного кинематографа», где каждый кадр — это ребус, где пластика находится в сложном контрапункте с содержанием, где персонажи не столько существуют на экране, сколько обозначают это существование. Но прошло какое-то время, и постепенно все поняли, что все тут не так просто, что это «странное» явление представляет собой новое качество нашей кинематографии, ибо принесла его с собой новая волна, новое поколение. Сегодня мы уже не можем сказать, что в режиссуру случайно пришли или перешли такие операторы, как Сергей Урусевский, Юрий и Вадим Ильенко, Вадим Дербенев, Марк Осепьян, лауреат Государственной премии 1973 года Ходжакули Нарлиев, М. Беликов. Между прочим, Ю. Ильенко занимался в мастерской Б. И. Волчека вместе с Х. Нарлиевым и М. Осепьяном. Деталь отнюдь немаловажная, если отнестись со вниманием к тому обстоятельству, что все они пришли к разрешению сложной задачи — созданию своего сценария. Фильм становится авторским. Действительно авторским. И мы можем судить по результатам, что это явление положительное: Ю. Ильенко — лауреат Международного кинофестиваля, Х. Нарлиев — лауреат Государственной премии. У них чувствуется связь с предшествующим периодом операторства. Чувствуется, что они, зная, как снимали бы их товарищи тот или иной эпизод, иногда действуют нарочито по-другому, по-своему. И в таком отталкивании, в поисках своих собственных решений, в поисках новых способов кинематографического повествования они добиваются заметных успехов, их поиски обогащают художнический арсенал всего нашего многонационального кинематографа.

К своему первому фильму Ильенко пришел через операторство в целой серии кинолент. Сначала дипломная работа на Ялтинской киностудии — «Прощайте, голуби», затем вместе с А. Войтецким снимал картину «Где-то есть сын», потом «Тени забытых предков» и только тогда отважился на режиссерство в фильме «Родник для жаждущих» (сценарий И. Драча). Но больше всего дал Ильенко первый самостоятельный опыт — лента «Где-то есть сын». Этот фильм стал для него уроком, примером того, как не надо снимать. Юрий хранит письма зрителей об этом его фильме. «От Вашей картины тошнит»,— пишет один. «Все перемешалось, все в куче, все шиворот-навыворот»,— вторит ему другой. Сам же Юрий говорит, что тогда ему хотелось снять весь мир, хотелось утолить жажду — ведь все в мире заслуживало внимания: и травинка, и морские скалы, и волны, и мяч, падающий с неба на землю, и след росы на яблоке, и... Одним словом, все.

Действительно, урок был полезен по многим соображениям. Ведь именно тогда стало понятно, что как раз и не следует снимать все, что отбор — самый последовательный и жизненно необходимый в искусстве принцип. Весь мрамор вовсе не нужен для скульптуры, следует отсечь лишнее, оставив только то, что необходимо для выражения сущности. Понимание этого пришло позднее. Но была и другая польза от этой всеохватности объектива, поскольку именно благодаря ей отрабатывались новые приемы операторства, выверялись возможности камеры, складывалась сумма необходимых мыслей и впечатлений, которые станут основой будущего, вырабатывался вкус и собственный взгляд на киноискусство. Все эти приемы, когда съемки велись «стоя, лежа и с колена», пригодились потом в работе над «Тенями забытых предков».

Однако операторство не утоляет творческой жажды. И он занимается резьбой по дереву, рисует, лепит, фотографирует, пишет киноповести. Ведется серьезная подготовительная работа к самостоятельной режиссуре. Изо дня в день, изо дня в день... Беседы с актерами, изучение психологии. Жена Ю. Ильенко — актриса Киевского театра русской драмы Л. Кадочникова, неизменная участница всех его фильмов — в то время главная помощница и советчица. Каждая ее роль в театре ведется как прикидка еще не написанных ролей. Еще никто не догадывается о том, что дружба Ю. Ильенко с Иваном Миколайчуком, завязавшаяся во время работы над «Тенями забытых предков», через несколько лет окажется столь плодотворной, что увлечение оператора украинским фольклором приведет к фольклорной выразительности, метафорической насыщенности, что интерес к украинскому прикладному искусству выльется в лубочную четкость красок и композиционную лапидарность. Влюбленность в этнографию, в неповторимую живописность народного быта, в музыку национальных мелодий — все это позже воплотится в целостный прекрасный образ бессмертия народного духа, все это поднимет до плакатного обобщения тему, которая станет постоянной у Юрия Ильенко,— тему добра и зла, их единоборства и противостояния.

Всем известная повесть Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала», замешанная на добром украинском юморе, на столкновении смешного и страшного, лишенная какого бы то ни было трагизма, переосмыслена и, если угодно, расширена Юрием Ильенко благодаря использованию фольклорных мотивов и в его интерпретации стала аллегорией борьбы между добром и злом. Нечистый Басаврюк, являющийся воплощением вселенского зла, поймавший в свои сети простодушного Петруся, сталкивается с моральной чистотою Пидорки и терпит поражение. Добро побеждает, но путь к этой победе нелегок — это путь паломничества Пидорки, которая сквозь все национальные беды пробирается в средневековый Киев, чтобы освятить символичный топор, которым будет разрублен канат, что связывает людей с огромным вселенским злом.

Фильм «Вечер накануне Ивана Купала» аллегоричен, это притча о добре и зле. Герои этой кинопритчи символичны, каждая деталь возводится в символ, а движение мысли — чисто метафорическое. Фильм этот апеллирует не только к зрению, слуху, но и к мысли, поскольку режиссер в данном случае мыслил не только ритмами, цветом, но и фактурой, звуком, композицией кадра. И каждый из компонентов у него неоднозначен.

А чего сто́ят дьячки-попики, которых Петрусь стряхивает с деревьев, будто яблоки? А малюсенькие, игрушечные церквушки, в которых они правят богослужение? Пропорции нарушены, все видится в обратном порядке: не человек живет в доме, а дом в человеке. Поначалу экран удивляет, ибо не отвечает обычному представлению «как в жизни». Совсем наоборот — как в кино, как в сказке, как в искусстве, как на украинских иконах, где город Иерусалим настолько мал и условен, что мы и воспринимаем его как условность, в то время, как Николай-чудотворец требует уже достоверных черт и пропорций. Так и у Юрия Ильенко. Тем самым притча с ее выводами и моральной сентенцией возводится в ранг трагедии.

Режиссер расширил круг наших представлений о добре и зле, расширил и сами традиции, обогатил ассоциативный ряд. Метафорический язык фильма прочитывается до конца, правда, это чтение требует определенных усилий и зрительского соавторства, и бывали случаи, когда недовольный зритель, знакомый с гоголевской повестью и ожидавший развлечения, выходил из зала смущенный. Однако не на него ориентировался режиссер. Задача была иной, весьма далекой от развлекательности. Разворошить, стимулировать мысль, воздействовать на наши эстетические чувства, которые под давлением информации — что́ греха таить! — несколько нивелировались.

Если в «Вечере накануне Ивана Купала» сюжет вытеснялся последовательностью развернутых сложных метафор, возникавших внутри рассказа, то в последующих работах режиссер преодолевает это. Аллегория становится реальностью, метафоры дешифровываются, символы превращаются в жизненные факты. Так сказать, движение наоборот: от символов к реалиям.

В фильме «Белая птица с черной отметиной», принесшем мировую славу Юрию Ильенко, рассказывается легенда. Мальчик хочет согнать с крыши своего дома птицу — аиста, чтоб не приносил им больше детей: «Хватит нам, а то голод от этого». Мать останавливает его, она говорит, что аист когда-то был человеком и как-то раз бог дал ему мешок и велел отнести его к пропасти и сбросить в нее. Бог предупреждал человека, чтобы он не заглядывал в мешок. Однако... согласно древнему поверью, человек, всегда стремившийся к знаниям (собственно, это библейская легенда о древе познания, только в славянском варианте), заглянул в мешок, а там — вся нечисть земли, которая тут же расползлась и разлетелась (ящик Пандоры). И разгневался бог, превратил любопытного человека в птицу и приказал ей выловить всех гадов, летучих и ползучих. «Пока не уничтожишь всю нечисть, до тех пор будешь птицей»,— сказал он. И с того времени аисты шагают по оврагам и болотам, выискивая зло, которое сами же и посеяли.

Легенда, рассказанная матерью сыну, требует зрительной дешифровки. И вот автор повествует, казалось бы, совсем о другом. О жизни одной большой семьи в тридцатые — сороковые годы на Буковине. Сюжет фильма уже отработан в литературе: непримиримая вражда, которую породили социальные сдвиги, охватила большую семью, и, как говорится, пошел брат на брата. Достаточно вспомнить «Всадников» Ю. Яновского, "Три сына" П. Тычины или еще дальше — гоголевского «Тараса Бульбу», чтобы убедиться в знакомости конструкции. То, что еще вчера составляло единое целое,— семья, сегодня распадается на полярно противоположное. Антагонизм непримирим: как между Андреем и Остапом у Гоголя, так и между Петром и Орестом у Ильенко. И не помирит их ни отцовское слово, ни отчизна, потому что никогда не мирилось добро со злом. Несовместимость их закономерна, так же, как и выбор человеком той или иной стороны.

На крутых поворотах история всегда ставила подобную альтернативу. Это порождало необычайно напряженную драматургию. Перипетии жизни Леся Звонаря и его сыновей отражают жизнь и борьбу с румынскими захватчиками, с немецко-фашистскими палачами, с националистическими силами. Реальность воссозданной в фильме истории не вызывает сомнений.

Насыщенный подтекстом легенды фильм воспринимается как народная дума, как эпическое повествование о народной судьбе, поскольку он крепко опирается на традиции национального фольклора.

Образы героев «Белой птицы с черной отметиной» наделены большим духовным потенциалом, патети-

кой высокого гражданского звучания, эмоциональной глубиной.

Дед Иван из кинофильма «Родник для жаждущих» (его роль исполнял Милютенко), копающий перед смертью колодец (символ добра) для всех жаждущих, при всем своем жизненном правдоподобии несет на себе печать чего-то величавого. И это «что-то» весьма конкретно: его внешность, его замедленность, степенность. Приглядевшись к нему, мы замечаем, что это отнюдь не обыкновенный старик, иначе он и не заслужил бы режиссерского внимания. Это — воплощение обобщенного жизненного опыта. Опыт, которого хватило бы на нескольких, как бы сконденсирован в одном человеке.

Герои Юрия Ильенко — это люди эпического склада мышления и действия. Героическое, вернее, романтическое, интересует его в своей изначальности, как присущее каждому человеку. Именно это начало влечет человека к высокому духовному взлету, делает его морально чистым, совершенным, как дед Иван, Пидорка, Петр Звонарь...

В том или ином факте, в той или иной личности режиссер старается отразить самое характерное для определенного отрезка времени. «Романтическим» ключом здесь открывается все: и композиция кадра, и характеры героев, и ритм музыкальный и изобразительный. Событие для Ю. Ильенко не первоочередное, не главное. Детективный сюжет для него неприемлем. Творческий нерв Ю. Ильенко — в лирико-эпической завихренности событий, в художнической страсти. А потому сюжет для него является лишь толчком, отправной точкой к изобразительному ряду, к рассказу о необычности какого-либо явления, которое обладает своей логикой, хотя и не подчиненной сюжетной четкости. Не все в жизни строится по намеченным сюжетам.

Сцены любви у Ю. Ильенко тоже овеяны романтикой. Режиссер не боится нарушить стилистическую целостность произведения, в котором эпизоды цементируются обычно не сюжетом, а ритмом действия. Фактура вещей у Ю. Ильенко чрезвычайно живописна, сочна: дерево и глина, ковры и трава. Во всем режиссер раскрывает действительность, вернее, ее приметы.

Творческую манеру Ю. Ильенко распознаешь непременно. Она постоянна, как постоянна основная тема его творчества. Следующая после «Белой птицы...» работа Ю. Ильенко «Наперекор всему» (совместное производство с Югославией) рассматривает категорию добра и зла уже социально-конкретно, как волю и неволю. Фильм рассказывает о борьбе черногорцев за национальное освобождение от турецкого ига.

Тема выбора больше всего интересует режиссера. Выбор сознательный, обдуманный, продиктованный моральной силой или, наоборот, ущербностью.

Новый фильм Юрия Ильенко «Мечтать и жить», над которым только-только началась работа, максимально приближен к нашим дням и посвящен анализу тех обстоятельств, которые влияют на решение человека, когда он делает выбор.

Иван Миколайчук, соавтор Ильенко в двух последних фильмах, говорит, что работать с Юрием интересно, потому что у него никогда не бывает изначально единственной точки зрения на предмет или явление, что неминуемо привело бы к режиссерскому диктату или схеме. В съемочной группе Ю. Ильенко работают все, и каждый имеет право на свой взгляд, на свою точку зрения. И прежде чем снимается тот или иной эпизод, взвешиваются все «за» и «против», дабы прийти к единственно возможному, единственно верному в данном случае варианту. Сценарная запись для Ю. Ильенко — это рисунок



Кадр из фильма
«Белая птица с черной отметиной».

для импровизации, намеченное состояние для актерской роли. В борьбе двух идей, двух точек зрения рождается третья. Так Юрий Ильенко делает актера не просто исполнителем, но и соавтором.

Злые языки утверждают, что Ю. Ильенко режиссурой погубил в себе прекрасного оператора. Но мы убедились, что это далеко не так. Природа наградила его талантом живописца. И в этом таланте — истоки, откуда берет начало его операторская и режиссерская деятельность. Плюс к этому — высокая требовательность к своей работе, которая является определяющим фактором его сегодняшних и завтрашних успехов.

Киев.









Г. Г. ГАМЗАТОВ

ГАМЗАТ ЦАДАСА

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО



ФРИЦ ПЛАТТЕН, СОРАТНИК ЛЕНИНА

Хочу порекомендовать читателям «Юности» книгу Александра Дунаевского «Платтен — известный и неизвестный» (Воениздат, 1974) — книгу о замечательном человеке. Революционере, жизнь которого полна героических поступков и опасных приключений. Ученике и друге Ленина.

Швейцарский рабочий социалист - интернационалист, потом коммунист, Фриц Платтен — фигура полузабытая. А это, конечно, несправедливо. Даже один, только один мгновенный эпизод увековечил его...

Первый день нового, 1918 года. Заснеженный, заснеженный Петроград. Сумерки. Владимир Ильич выступил в Михайловском манеже на проводах первого батальона будущей Красной Армии. После митинга Ленин — с ним были сестра, Мария Ильинична, и швейцарский товарищ Фриц Платтен — возвращается в машине домой. Автомобиль на мосту через Фонтанку. В это мгновение прозвучали выстрелы, пули пробили стенку кузова, ветровое стекло... Когда зажужжали пули, Платтен быстро наклонил голову сидящего рядом Ленина, закрыл его своими руками. Одна из пуль врагов, покушавшихся на жизнь вождя революции, задела руку Платтена. Он легко ранен и глубоко счастлив: невредим Ленин!

Книга А. Дунаевского — результат писательского поиска. Жанр этот обретает все большие права гражданства в нашей литературе. Избрав героя будущей документальной повести, писатель собирает — по крупицам! — сведения о нем, о его окружении, о событиях, в которых он участвовал, об атмосфере, в которой формировался, жил и действовал.

«Строительным материалом» служат и старые книги, и заметки, промелькнувшие в газетах прошлых лет, и документы из архивов. И беседы с людьми, которые были очевидцами событий, так или иначе связанных с героем. Но ведь для того, чтобы найти документы, надо перевороширть превеликое множество материалов, бумаг, газет. Для того, чтобы поговорить со знающим человеком, надо объездить множество городов, а иной раз и стран.

Книга Александра Дунаевского «Платтен — известный и неизвестный» сравнительно невелика по объему, но в нее вложен огромный труд.

Сделавшись соучастником поиска, читатель как бы шагает вместе с писателем вслед за героем...

Что следует пожелать А. Дунаевскому, продолжающему свою многотрудную поисковую работу? Пожалуй, более строгого отбора материала, более тщательной работы над словом.

А читателю от души желаю скорейшей встречи с интересной книгой. С Фрицем Платтеном, заслуживающим нашей любви и преклонения.

Павел
ПОДЛЯШУК

БЕСКОРЫСТИЕ РЕВНОСТИ

Поэзия Игоря Шкляревского жизнелюбива...

Лет шесть назад, когда вышла книга стихов «Фортуна», после этой фразы я поставил восклицательный знак. Тремя годами позже, размышляя над книгой «Воля», я поставил бы (после некоторых колебаний) вопросительный знак. Сейчас я ставлю многоточие.

Да, жизнелюбие поэта не поверхностно, не однозначно... Жизнелюбие как осознанный вызов однократности бытия, вызов одновременно трезвый и безрассудный, на-ним, собственно, он только и может быть для человека, расстающегося с юношескими иллюзиями, но желающего продлить момент этого расставания.

Вот фотография —
возле колодца,
светлую голову
в небо задрав,
двадцатилетний,
ослепший от солнца,
воду студеную
пью из ведра.

Сегодня Игорь Шкляревский смотрит на давнюю фотографию с острым интересом... и с холодком отчуждения.

(«Ревность». Новая книга стихов. «Современник», 1974).

Любовь к родной природе и тревога за ее судьбу слиты в стихах И. Шкляревского воедино, и так же нераздельны в них жизнь леса, озер, рек, и духовное состояние человека.

Ну, а человек в поэзии Шкляревского, лирический ее герой, который незамедлительно и без каких-либо оговорок был определен критикой как личность динамичная, преисполненная энергии,— разве не различима в нем б е з з а щ и т н о с т ь? Задумаемся над такой деталью: выбирая для названий своих книг самые что ни на есть энергичные слова: «Фортуна», «Воля», «Ревность»,— поэт неожиданно находит в сердцевине этих понятий некий потайной смысл. В них и

бескорыстие, и сострадание, и доверчивость — те свойства, которые являются не антиподом, не противоположностью «волевого» мироощущения поэта, но его гуманистическим обоснованием...

Поэт меняется и растет от сборника к сборнику; именно поэтому некоторые прежние стихи, перепечатанные в «Ревности», уже не соответствуют нынешнему уровню возможностей и способностей автора. Книга «Ревность» — неоднородна, неровна; об этом тонко и убедительно писал в «Литературной газете» Александр Межиров. Судя по недавним новым публикациям И. Шкляревского, которые отмечены большей строгостью отбора и вкуса, он не остался безразличным к предостережениям и советам. И это — немаловажная особенность, свидетельство того, что поэт отнюдь не намерен довольствоваться достигнутым.

В. ГЕЙДЕКО

ОКЕАН КРАСОТЫ

«Искусство Древней Руси» называется книга Льва Любимова, выпущенная издательством «Просвещение» (Москва, 1974). В подзаголовке стоит: «Книга для чтения». Действительно, это не учебник и не искусствоведческий труд. В книге есть напряженный сюжет. Он возникает от глубины времен — с падения Древнего Рима и с рождения Византийского искусства, а завершается накануне петровского периода нашей истории.

Грандиозный сюжет, вместивший целые исторические эпохи, не рождает ощущения громоздкости. Его драматическое и в то же время величавое течение вбирает в себя множество побочных линий, ценнейших подробностей истории России, и все это читается с увлечением.

Это книга для чтения и в то же время для созерцания древнерусского искусства. Не только потому, что она богата замечательными иллюстрациями; благодаря поэтическим описаниям автора мы как бы воочию видим шедевры древнерусской архитектуры, живописи, мозаики, декоративного искусства...

Читатель погружается в «океан красоты», как говорит автор, испытывает несказанное эстетическое наслаждение. Кто хоть раз побывал во Владимире, найдет в книге строки о том, что именно пленило его собственное сердце. А кто не видел это чудо красоты, тот загорится мечтой посмотреть на него.

«Во всей русской поэзии, давшей миру столько непревзойденных шедевров, нет, может быть, памятника более лирического, чем церковь Покрова-на-Нерли, ибо этот архитектурный памятник воспринимается как поэма, запечатленная в камне. Поэма русской природы, тихой грусти и просветленного созерцания», — пишет автор.

Он говорит об эмоциональности нашей живописной культуры, о ее народном начале, о переплетении в иконописи религии с бытом, божественных сил с силами природы, о сказочности, о музыкальности линий.

Эмоциональность, с которой написана книга, — вот что еще придает ей увлекательность.

Читаешь «Искусство Древней Руси» Льва Любимова и не перестаешь изумляться — сколько великих талантов извечно живет в русском народе, какой непревзойденной красотой, богатством гениальных произведений искусства мы владеем! И какое преступление перед самим собой совершает тот, кто не знает их!

О. ГРУДЦОВА

БИОГРАФИЯ ПОЭТА

Недооценим вклад Гамзата Цадасы в развитие аварской литературы, а следовательно, и в развитие многонациональной советской литературы. Многочисленны высказывания крупных советских ученых и поэтов об этом замечательном человеке. Есть и критическая литература о нем. Однако ранний период жизни и творчества поэта изучен относительно слабо; сведения о семье поэта, его учебе и работе до революции весьма отрывочны; недостаточно внимания уделено арабо-язычной поэзии Цадасы.

Этот пробел призвана восполнить новая монография Гаджи Гамзатова, младшего сына поэта.

Называется книга об отце «Гамзат Цадаса» (Дагучпедгиз, Махачкала). В монографии обстоятельно раскрыты жизнь и творчество поэта в досоветский период (1877—1917). Работа предлагает новую периодизацию дореволюционного творчества Цадасы, уточняет даты написания многих ранних произведений, содержит обширный комментарий к анализируемым стихам. Правда, недостаточно аргументированно, на мой взгляд, сопровождение подстрочных переводов текстами на аварском языке: вряд ли русский читатель (а книга издана на русском языке) сумеет сопоставить тексты или оценить звучание оригинала.

Обширная характеристика политического и экономического состояния Дагестана, опубликованная в начале книги, проливает свет на формирование мироощущения будущего поэта, во многом объясняет социальную направленность ранних его произведений. Кстати, уточнена сама дата рождения поэта. Ею следует считать 11 августа (а не 21 августа, как утверждалось до сих пор в литературе) 1877 года по новому стилю.

Очень оживляют изложение воспоминания современников — земляков, сослуживцев и друзей Цадаса — это настоящие красочные картинки народной жизни. И все-таки стиль книги порой тяжеловат. Более тщательная редактура, очистившая текст от ряда литературоведческих пассажей излишне специального свойства, только бы усилила эмоциональное воздействие нужной и серьезной работы.

В. ШИРОКОВ

СОПРИЧАСТНОСТЬ

Поначалу эту небольшую книжку, на обложке которой сквозь солнечный диск просматривается озерный пейзаж, можно принять за обыкновенный путеводитель. Но вот вы перелистали десяток-другой страниц и как будто в действительности услышали плеск воды за кормой, протяжный гудок отходящего от пристани парохода. Вы уже не читатель, а путешественник. Такое чувство невольно овладевает вами при чтении книги Владимира Исакова «Под солнцем Селигера» («Московский рабочий», 1974 г.).

Эта книга объединила несколько тесно связанных между собой очерков о туристской «Мекке» Центральной России — селигерском озерном крае. Автор ведет нас «Великим селигерским путем», которым ходили когда-то торговые караваны новгородских купцов, — и словно отодвигаются назад века. Мы видим, как наяву, быстрые струги и крепости за частоколом, песчаные волоки и рыбацкие поселения, становимся свидетелями монголо-татарского нашествия и польско-литовского разорения...

Интересен рассказ автора о судьбе талантливых ремесленников и рыбаков, оставивших свои имена в народных преданиях и сохранившихся памятниках архитектуры. Эти раздумья, неразрывные с горячей любовью к древнему озерному краю, делают автора сопричастным с его судьбой, с его сегодняшним и завтрашним днем.

Речь идет и о братских могилах, оставленных на этой, помнящей не одно разорение земле последней, самой кровопролитной для нее войной. Скорбное чувство испытываешь, читая страницы о трагедии деревни Ксты — «Калининской Хатыни». Автор приводит здесь рассказы чудом уцелевших очевидцев кровавых событий зимы сорок второго. И оттого незабываемо проникновенно звучит его рассказ о памятные живущих, о цветах, которые лежат у каждого памятника, у каждой солдатской могилы...

«Под солнцем Селигера» не простой путеводитель по краю — это труд нескольких лет журналистской работы автора в Верхневолжье, плоды встреч с сотнями его жителей, наблюдений, находок, раздумий.

Вл. СТЕПАНОВ





Петр **ГРАДОВ**

В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ

Дневники девятиклассника

Фото Б. КУДОЯРОВА.

Перечитал я свои дневники, которые вел в Ленинграде осенью 41-го и в самое тяжелое время, в первую военную зиму. Эти записи, по-моему, дадут возможность понять современному читателю, особенно молодому, не изведавшему испытаний военного времени, как, несмотря на все трудности, блокадный Ленинград жил, сражался и победил. Многое, конечно, в этих дневниках по-мальчишески наивно. Но я решил ничего не изменять: ведь писал все это ученик 9-го класса.

14 октября 1941 года.

Сегодня у меня выходной. Последнее время работаю санитаром в госпитале № 926. Это в гостинице «Англетер», где когда-то покончил с собой Сергей Есенин. Очень жалко было расставаться со старым госпиталем. Он находится на улице Плеханова, в 1-й образцовой школе. Сговорился с Ниной Козловской пойти сегодня в Театральную библиотеку, подобрать какой-нибудь новый скетч. «На старой даче» Ялунера мы уже во всех госпиталях играли. Зашел за Ниной. В дверях записка: «Ушла по срочному делу. Извини». Ничего.

С ребятами из бригады вижусь только во время концертов. Вчера выступали в старом госпитале. Я только вел концерт. Следующий раз обязательно буду читать «Славу» В. Гусева. Кончаю писать — опять что-то грохочет, а тревогу не объявили. Наверно, артиллерийский обстрел.

16 октября.

В школе занятий пока нет, терять год жалко. Читаю кое-что по программе 9-го класса: «Обломов», «Воскресение». Немного занимаюсь немецким.

Когда пришел на работу, там показывали кинокартину «Друзья». Успел посмотреть вторую половину. В два часа ночи привезли новых раненых — из-под Ораниенбаума и других мест. Один из раненых мне сказал, что наши высадили морской десант и отбили Стрельну. Это неплохо. Сегодня сестренка Галя получила два письма от мужа. Юра на Ленинградском фронте. Мне он пишет, что находится в соединении Бондарева, но сейчас при штабе, чем очень недоволен.

Сегодня пошел обедать в столовую. На первое — суп (вода с чечевицей), на второе — омлет. Вырезали 50 гр. мяса из карточки, но мяса в омлете и под микроскопом не обнаружишь.

Через час мне на работу. Хорошо бы не было тревоги, как вчера ночью.

Очень меня беспокоит положение на фронте, особенно под Москвой. Хоть бы там ему перца подсыпали. Уже пора.

20 октября.

Позавчера вышел на работу в ночь, проработал сутки. Собрался домой, вдруг сообщают: должны привезти 60 раненых. Пришлось остаться еще на 12 часов. Сегодня у меня весь день свободный.

Два дня не было тревог. Несколько раз выпадал снежок и таял. А сейчас, только я собрался в баню,—воздушная тревога.

21 октября.

Сегодня получил первую зарплату в этом госпитале. За половину месяца — 112 р. 50 к. Сто рублей — маме, 10 р.—сестренке Жене, остальное—мне.

Раненых сегодня не привозили. Давно не видел ребят из бригады. Надо будет завтра позвонить, узнать насчет концерта.

23 октября.

Сегодня отводил в райвоенкомат одного бойца. Ему ампутировали левую руку, теперь демобилизуют. По дороге в райвоенкомат он рассказывал мне о боях под Стрельной. Сам он из Воронежской области. Рассказывал так: «Немец, когда к заливу хотел пробиться, много своих положил. Наши и с кораб-

На снимке. Петр Градов, курсант военного училища связи, январь 1943 года.

лей садили и с берега. Стрельну он с одного края взял, а другую половину города мы держали. Ну, а потом наши десант высадили, и он стал удирать. Когда мы за ним пошли, так просто жутко идти было, столько ихних трупов навалено. А в меня снарядом угодило. Не в меня, конечно, а рядом разорвался. Теперь воевать больше не придется».

Мне было жаль его, и я старался в разговоре не касаться того, что могло бы его огорчить. Но бывают же такие совпадения — по улице гурьбой бежали ребятишки, один из них выкрикивал: «Продавала пироги рыжая бабенка, без руки да без ноги, одна головенка». Меня даже передернуло. Боец либо не расслышал, либо сделал вид, что не расслышал.

В госпитале сегодня был концерт военного джаз-оркестра. Солистка оказалась моей знакомой. Она пела до войны в хоре ансамбля песни и пляски Дворца пионеров. Руководил этим ансамблем И. О. Дунаевский. Я там читал стихи и даже пел. В музыкально-танцевально-драматическом спектакле «Миша Птичкин» (из школьной жизни) у меня была роль тяжелая в полном смысле этого слова. Мне на плечи сажали десятилетнего мальчишку, надевали на нас общий костюм. Все это называлось «Паганель». Мальчишка был довольно крупный и все время вертелся. Действительно, тяжелая роль. Сперва запевал «верхний этаж» тонким голоском:

Жил на свете ученик,
Он прочел немало книг...

А потом откуда-то из живота Паганеля доносился мой «бас»:

Он мрачнел, он худел,
И никто ему по-дружески не спел...

Зрители так и не знали, кому принадлежал этот голос «из нутра».

Сегодня впервые в жизни мне пришлось не только увидеть, но и прикоснуться к мертвецу. Дней семь тому назад, после бомбардировки города, к нам привезли бойца. Он был ранен в спину. Позавчера заходил в палату, разговаривал с ним. Сегодня его уже нет.

30 октября.

Двадцать шестого смотрел в Театре комедии «Тот, кого искали» Раскина и Слободского. Это, кажется, первая большая пьеса авторов, и очень удачная. Мне понравилась игра Колесова и Ханзеля. А Сухаревская так разыгралась, что смешила всех до упаду.

Последнее время обедаю в столовой Военторга, в помещении Текстильного института.

С 3 ноября, говорят, начнутся занятия в школе. Если так, я буду приходить в свободное от работы время. Думаю, не отстану. На работе все по-прежнему. Опять начались воздушные тревоги по вечерам. А вчера был страшный артобстрел. Бил в основном по нашему Октябрьскому району. Об этом объявили по радио, да мы и сами чувствовали.

1 ноября.

Решил сегодня записать, что со мной было с начала войны. В июне мама, две мои сестренки и я жили под Ленинградом, во Всеволожском. Места там чудесные — леса, озера. Отдыхал я отлично — читал, играл в футбол, купался, загорал... И вдруг — в о й н а! Сестренка Женя прибежала с реки и говорит: «Петя, я не знаю, правда ли это, но говорят, что Германия объявила нам войну!» Я остолбенел. Как будто током ударило. Потом подумал: может быть, слух, провокация? Но вскоре об этом заговорили повсюду. Станция от нас далеко. Радио не было. Газеты хозяин дачи получал только в 3—4 часа. Но еще до прихода газет мы все уже точно знали: началась война.

Люди начали уезжать в город, боясь, что отрежут от родных. Мы уехали 28 июня. Машину достать не смогли. Часть вещей взяли на свою машину знакомые. Остальное мы несли на себе до станции.

29 июня я зашел в школу. Меня направили работать связистом в районную комиссию по трудовой повинности. Работа скучная. Бегаешь с нарядами по домоуправлениям, провожаешь группы на работы, передаешь телефонограммы. Через день по восемь часов. Когда шла оборонная стройка у больницы имени Фореля, работал там: ездил за сводками, обходил участки, проверял правильность сводок.

Когда эвакуировали детей из Ленинграда, работал на вокзале: грузил вещи, продукты. Сейчас, когда не видишь белого хлеба, вспоминаются ящики со свежими румяными батонами, которые мы грузили.

Однажды у нас в комиссии по трудовой повинности я встретил ребят, знакомых по Дому пионеров Октябрьского района. Оказывается, они с первых дней войны организовали концертную бригаду, выступали на мобилизационных пунктах, в госпиталях по нескольку раз в день и порой в очень трудных условиях. В комиссию они пришли, чтобы получить освобождение от трудовой повинности. У них было с собой письмо райкома. Ребята предложили мне перейти к ним в бригаду. Я согласился. Работа там интересней и не менее полезна. Побывал на нескольких репетициях. Они происходили в помещении эвакогоспиталя на улице Плеханова, 26. Началась моя работа в бригаде с номера «Казачья». Я читал под музыку стихи, а потом шла казачья пляска в исполнении Люси Тихомировой, Гали Антоновой и Руфи Лавровой. Еще я читал отрывок из книги о Щорсе.

Раненых в госпитале пока не было. Мы считались дружинниками. Но вскоре стало известно, что госпиталь свертывается и эвакуируется в район Вологды. Там предстояла горячая работа по приему раненых из Мурманска. Нам предложили оформиться на штатную работу санитарами. Многие тут же написали заявления. Я, зная мамин характер, побежал домой посоветоваться. Был уверен, что родители возражать не будут. Мама сказала: пусть решает отец. Отец расспросил меня подробно обо всем и согласился. Я сразу же написал заявление—и в госпиталь. Когда пришел домой, у нас полная комната народу. Оказывается, мама, узнав, что я подал заявление, до того разволновалась, что у нее начался сердечный приступ. Все на меня смотрят с укором — вот до чего довел мать. Милая, родная моя мама! Да чем же я виноват? Ведь ты сама меня послала к отцу... Несколько дней мне просто тяжело было находиться дома. Я брал книгу и уходил в Троицкий садик.

Три дня спустя — новый приказ: госпиталь развернуть. Мы все уже были санитарами. Бои шли еще далеко от города, раненых не привозили. В городе началась эпидемия дизентерии, и к нам стали привозить больных. Это была очень неприятная работа. Мы все еле выдержали.

И снова приказ: приготовиться к приему раненых. Через 24 часа мы были готовы. Почти вся наша бригада работала в приемном покое. Когда я сказал об этом отцу, он испугался, приняв приемный покой за покойницкую.

Привезли первых раненых. Началась настоящая работа. Сутки работали, сутки отдыхали. Но мы, конечно, не отдыхали, а репетировали и выступали в этот свободный от работы день иногда по нескольку раз.

В это время наша семья собралась эвакуироваться. Я наотрез отказался. Сказал, что не отпускают из госпиталя. Хотя при желании можно было легко уйти. Но эвакуацию вскоре отложили.

2 ноября.

Выходной. Смотрел спектакль «Малыш» в Театре комедии. Встретил там Дину Елисееву из нашего класса — она теперь в техникуме оптики и механики, Раю Эрейбург из параллельного класса. Это я про нее когда-то писал:

Попрыгунья наша Рая
Удивительно шальная.
И звенит, не умолкая,
Взбаламученная Рая.

Встретил девушек, с которыми работал в комиссии по трудовой повинности. Они и сейчас там. Комедия не произвела особого впечатления. Тенин очень обаятелен. Теперь я понимаю свою сестренку Галку, которая от него без ума.

Недавно произошел случай, о котором я написал стихи:

Ночью нас бомбили.
Утром рано
Спали мы в обнимку с тишиной.
Привезли мальчишку-партизана,
Был он ранен пулей разрывной.
Головы поднять не мог с подушки
И в немой тоске глядел на нас.
Побледнели рыжие веснушки
На носу курносом и у глаз.
Главный врач возился с ним немало,
И мальчишка молча все терпел —
Не кричал и даже не стонал он,
Лишь зубами, как зверек, скрипел.
А потом он вдруг заплакал горько.
И заплакал только потому,
Что кисет с солдатскою махоркой
Врач велел не возвращать ему.
Плакал он при всем честном народе,
Покраснел от слез курносый нос.
— Воевать не маленький, выходит?!
А курить, выходит, не дорос?!
Все мы знали,
Что свое решенье
Отменять наш главный не любил.
Но бывают, видно, исключенья —
Закурил и сам он от волненья
И кисет мальчишке возвратил.

3 ноября.

Сегодня мы начали заниматься в школе. Это для всех нас радостное событие. Я из четырех уроков был только на одном — из-за медицинского осмотра, который не успел пройти вовремя.

У нас было две химии и две литературы. На один из уроков литературы я и попал. Писали под диктовку отрывок по Гоголю. Педагога не сравнить с Раисой Григорьевной. Ее я буду всегда вспоминать с благодарностью.

5 ноября.

Ночью во время воздушного налета несколько небольших зажигательных бомб упало во двор госпиталя. Я выскочил во двор и, растерявшись, начал тушить кирпичами, которые попались под руку. От этого количество бомб на моих глазах стало увеличиваться: я их разбивал на несколько частей. Потом заметил в углу двора кучу песка. Она и была там насыпана специально для тушения зажигалок. В общем, все кончилось благополучно.

Зажигалки он сбрасывает сотнями, а иногда и по нескольку тысяч. И сразу во многих районах города, чтобы трудней было тушить пожары. Вспоминаю, как горели Бадаевские склады. Это было еще в сентябре. Я шел на дежурство в госпиталь. На углу Фонтанки и проспекта Майорова огромная толпа. Стоят молча и смотрят в ту сторону, где в полнеба оранжевое зарево. Часов пять не прекращался этот пожар. Говорят, там сгорело много продуктов.

8 ноября.

6-го был страшный налет с воздуха. В соседний дом (на углу Фонтанки) попали две фугасные бомбы. Семи этажей как не бывало. Много жертв — смотреть невозможно. Этот дом мне особенно дорог — мы жили там со дня приезда в Ленинград. Четыре года назад переехали. А мама собиралась в магазин, который находился в этом доме, там давали по карточкам к праздникам соленые помидоры. Бомбы упали до того, как объявили воздушную тревогу. Мама уже надела пальто, взяла сумку, но потом задержалась на несколько минут на кухне. И тут раздался страшный взрыв. У нас посыпались стекла... А если бы не задержалась?

9 ноября.

Работаю и учусь. К 8 часам вечера иду в госпиталь. Работаю до 8 утра. Потом бегом в школу. Там до 2—3 часов. Делаю уроки, сплю пару часов и к 8 вечера опять на работу. Трудно. Бывают сутки, когда сплю по три часа. Если нет тревог и не привозят раненых, можно немного поспать в госпитале.

Видел, как проходили по улице бойцы народного ополчения. Меня удивил их очень гражданский вид. Много пожилых людей. В очках. Без выправки..

10 ноября.

Прочел книгу о Марке Твене из серии «Жизнь замечательных людей». Написано скучновато. А жизнь у него была очень интересная. До того, как стать писателем, он был лоцманом, газетным репортером, редактором и даже занимался изобретениями. Читал лекции, выступал со своими рассказами перед публикой. Выступая, он вспоминал эпизоды из своей жизни, обычно смешные. Например, о том, как в детстве он стащил арбуз. Когда оказалось, что арбуз зеленый, он вернул его хозяину. В награду получил другой — спелый.

Придется на время расстаться с книгами, кроме учебников, конечно,— не хватает времени.

14 ноября.

Всю ночь продолжались тревоги. С небольшими интервалами. Днем было уже четыре тревоги. Последняя из них только что кончилась. В школу сегодня не пошел. И очень разумно поступил, так как было всего два урока, да и то неполных из-за тревог. Я хоть немного выспался.

С 12 ноября сократили выдачу хлеба. Рабочим теперь — 300 граммов, а служащим и иждивенцам — 150. Приближаемся к осьмушке.

Если сейчас не откроют дорогу, будет, думаю, еще трудней. Наши, по всем признакам, нажимают изо всех сил, чтобы открыть дорогу, но он сильно укрепился. Приезжал к нам домой старшина из Южной части. Их дивизию перебросили в район Тосно.

Днем ходил к знакомому. Он на зенитной батарее, которая совсем рядом с памятником Петру. Я отнес ему ватник и теплые брюки. Немного прошлись по набережной. Рассказывает, что устроились они в землянке неплохо — соорудили печь, и там теперь тепло. Стрелять им приходится не часто, так как немец разведал их точку и старается обойти стороной.

На берегу Невы какие-то мелкие корабли. Их подняли на берег. Команды, наверно, бьются на суше. Много кораблей на Неве. Видел две подлодки. Раненые краснофлотцы рассказывали мне о гибели частн нашего Балтфлота при переходе в Кронштадт. У меня возникает мысль, что самый сильный флот у нас должен быть на Тихом океане, на дальневосточных базах, а на Балтике сильная береговая оборона, подлодки, торпедные катера, миноносцы и легкие крейсеры. А то где тут развернуться линкору или авианосцу?

15 ноября.

Возле Таврического дворца попал под артиллерийский обстрел. По противоположной стороне улицы бежала женщина и кричала истошным голосом. На руках у нее — маленький ребенок. Пальтишко залито кровью. Молчит. Или он потерял сознание, или его убило осколком снаряда. А женщина кричала все громче и громче... Ничего страшнее в жизни я не видел.

16 ноября.

Недавно пришел с работы. В школу не надо — воскресенье. Пошел в баню. Закрыто. Нет воды.

Ночь была удивительно спокойная. А вчера вечером была большая тревога. Я стоял в подворотне нашего дома. Там собралось много народу. По небу ползали лучи прожекторов. Где-то ухали зенитки. Слышался шум моторов наших ночных «ястребков». Вдруг чей-то голос: «Это наши прожектора или немецкие?» Я настолько удивился нелепому вопросу, что чуть не сказал, что немецкие. «Наши, а что?» «Ну, тогда не страшно»,—последовал ответ. Я пытался рассмотреть, кто это? Но кругом кромешная темнота. Потом все-таки разглядел эту странную старушку. Она оказалась моей первой учительницей музыки.

17 ноября.

В школу пришел к третьему уроку, так как утром привезли раненых. Среди них был мальчишка, раненный в ногу. Веселый крепкий паренек. Связист при штабе 8-й армии. Держит себя очень достойно. Над ним не вздумай шутить!

В школе получил первую отметку — «отлично» по геометрии. Преподает директор. В классе холодно. Все в пальто. Сегодня он вызвал девочку к доске: «Пальто можете снять, я постараюсь, чтобы вам не было холодно». Один ученик написал синус и косинус с большой буквы. «Если вам так хочется писать эти слова с большой буквы, то, когда у вас будут дети, назовите одного Синусом, а другого Косинусом. И пишите с большой буквы, я не посмею вам запретить».

Хорошо, когда человек не теряет чувство юмора в таких тяжелых условиях. Трагическое и смешное часто рядом. Вот недавно в театре шел спектакль...

И в самом интересном месте,
Когда в саду, в тени ветвей,
Герой, придя к своей невесте,
Решил сказать о чем-то ей...

От нетерпенья замирая,
Мы ждали этих главных фраз,
«Хочу сказать тебе, родная...»
И тут бомбежка началась.

Когда закончилась тревога,
Мы свой покинули подвал,
И вот опять в молчанье строгом
Притих наш театральный зал.

И, сцену как бы продолжая,
Подходит к девушке герой:
«Хочу сказать тебе, родная...»
И тут опять сирены вой.

В бомбоубежище актеры
Шли с нами вместе через зал.
Был, верно, там и тот, который
Героя этого играл.

Хотел спросить его в подвале,
Но там темно, как на беду.
Да и раскрыл бы он едва ли
Сюжет.
Ну ладно. Подожду.

И я, надежду не теряя,
Опять иду в холодный зал.
«Хочу сказать тебе, родная»,—
Промолвил он и замолчал.

И все притихли, ожидая,
Что вновь прервут, в который раз.
Он повторил: «Тебе, родная...»
И вновь сирена раздалась!

Бомбежки эти проклиная,
Мы расходились в полночь спать,
Так до сих пор я и не знаю,
О чем он ей хотел сказать...

18 ноября.

Сейчас тревога. Бьют зенитки. Мне еще надо выучить уроки. А к восьми вечера на работу. В бомбоубежище ходить перестал. И многие так. Ведь бомбит по нескольку раз в день, а бывает так, что одна тревога длится пять часов. Что же, так и сидеть все время в подвале? Много бед от бомб замедленного действия. Упадет такая чушка, и не знаешь, когда она взорвется. А немец еще взрыватели хитрые ставит. Чтобы трудней было обезвредить.

20 ноября.

Скоро пять месяцев войне. А сколько еще впереди? Америка, наверно, тоже начнет, а потом Япония, Турция (что-то неспроста взял премьер отпуск).

В городе очень плохо с продовольствием — чувствуется блокада. Сегодня рабочим — уже 250 гр. хлеба, а служащим и иждивенцам — 125. На каждом лице это можно прочесть. Вчера на работу пришел в 22.30. Не пускали тревоги. Сегодня выходной. Сходил в кино. Смотрел старую картину «Процесс о трех миллионах» с Ильинским и Кторовым. Уроки учу преимущественно во время тревог. Сплю очень мало.

20 ноября.

Англичане жмут в Ливии. Приветствую! Вчера в центральных газетах видел фотографии английских и американских самолетов, действующих на нашем фронте. Еще лучше! Того и гляди, через годик заплачет фюрер настоящими слезами.

Только что заделал окна подушками. Дело в том, что все утро и сейчас артобстрел. Один снаряд уго-

дил в наш дом — в крышу. Посыпались стекла и кирпичи, но жертв нет. Я поднялся на чердак. Взял на память осколок.

24 ноября.

Сейчас тревога, но спокойно. Только что пришел из школы.

Вчера разговаривал с одним раненым моряком, очевидцем первого воздушного налета на Кронштадт. Жутко и в то же время красиво (его слова). Немецких самолетов было около сотни, и летели они на большой высоте, чтобы зенитки не достали. Все орудия Кронштадта и кораблей открыли бешеный огонь. Самолеты начали бомбардировку. И тут случилось невероятное! Если это не его фантазия, то действительно невероятно: бомбы не долетали до цели, а взрывались в воздухе — от снарядов. Вряд ли это возможно, хоть в Кронштадте и сотни орудий.



Школьные занятия не прекращались, несмотря на разрушения и голод.

25 ноября.

Мама говорит, что можно улететь в Вологду. На днях должно выясниться. С продовольствием все хуже и хуже. Хлеба выдают по карточкам очень мало, да он и не пахнет хлебом. Чего только туда не добавляют — и жмых, и сою, и даже, говорят, целлюлозу. Сразу после того, как поел, хочется опять есть. Недавно мы устроили дома настоящий «пир». Вместе собираемся очень редко: отец на казарменном положении, я в госпитале, Галка в институте. А тут все вдруг собрались. Мама затопила голландскую печку и сварила маленький котелок пшенной каши. Каждому досталось по нескольку ложек. Потом долго болтали, сидя возле печки.

Сегодня получил «отлично» по физике и географии (последнюю читал на работе, пока не привезли раненых). Завтра в школу не пойду — надо отоспаться. Сегодня весь день проклятая тревога.

Говорят, вчера немец бросал листовки.

Один парень из нашего класса рассказал мне, что его брат, летчик гражданской авиации, работает на линии Ленинград — город Н. Говорит, что сейчас из города улетает много народу, а в обратный рейс они берут по нескольку тонн галет, шоколад и какие-то жиры. Летает он на транспортном «дугласе».

27 ноября.

Внимательно слежу за событиями в Ливии. Есть надежда на победу Англии. Не теряю я и надежду, что откроют новый фронт в Европе! Но где? Думаю, во Франции или в Греции.

Вчера передавали о крупном успехе наших войск на Юге. Побольше бы этих успехов! В Тосно и на Неве наши несут большие потери, двигаются медленно. Немецкая оборона очень крепка: множество огневых средств и очень удобное расположение. Но все равно его выкорчуют оттуда.

5 декабря.

Позавчера в доме была суматоха. Галин институт должен был эвакуироваться. Им велели собрать вещи и ждать. Но вчера эвакуацию приостановили. Очень и очень жаль. Галя могла бы взять с собой младшую сестренку Женю.

У нас третий день нет света. С продовольствием еще хуже. Жиры и сахар не дают по карточкам вообще, а крупу и мясо уменьшили. Вчера вечером на тротуаре увидел старика, он не мог двигаться от слабости. Немец занял Тихвин и угрожает Волхову. Полная блокада. Если бы Англия объявила войну Финляндии и начала там действовать, все же стало бы легче.

В школе очень холодно. Не топят. Вчера ночью две тревоги. Где-то недалеко сбросил.



Женщины героического Ленинграда работали на сооружении оборонительных укреплений.

12 декабря.

За эти семь дней произошло многое. Настроеиие поднялось — ведь наши заняли Тихвин и Елец.

Вчера ночью привезли много раненых. Среди них молодой парень — студент Московского университета. У меня перед глазами его окаменелое лицо, стеклянные глаза, судорожно сжимающаяся и разжимающаяся челюсть: «Гитлер, Гитлер, Гитлер! Убить! Убить!..» И так сотни раз. Он сошел с ума.

13 декабря.

Прочел не отрываясь «Воспоминания В. А. Мичуриной-Самойловой». В конце книги—заветы молодежи.

«Люби искусство больше себя, тогда и тебя полюбит искусство. С радостью переноси все душевные страдания — это помощь твоему творчеству».

Этот завет я очень прочувствовал (душевных страданий хватает.) И еще два завета я уже выполняю давно: «Мало спи» и «В день спектакля ешь впроголодь». В книге есть смешной эпизод. В каком-то спектакле на сцене стоял гроб, в котором лежал статист — солдат. Расплавленный воск от свечи капал ему на лицо. Он не выдержал: поднялся, потушил свечу и опять лег.

17 декабря.

Настроение прекрасное в связи с новыми победами на фронте. В шесть часов я неизменно у приемника.

Но в городе плохо. Очень много людей умирает. Дней пятнадцать не было тревог. Артобстрел каждый день. Дефицитом теперь является не только хлеб, но и доски для гробов. Развелись воришки по линии продовольственных карточек.

Вчера на дверях магазина (угол Майорова и Плеханова) прочел две записки-объявления:

«Утеряны 3 крупяные карточки: рабочая, служащая и детская. Нашедшего молим вернуть по адресу...»

«Продаю случайно гроб большого размера». И указан адрес.

18 декабря.

У меня выходной. Только что пришел из театра. Смотрел «Даму с камелиями» А. Дюма.

Очень жаль, что не участвовал Борис Смирнов, хотя заменявший его актер играл неплохо. Не совсем удачно аккомпанировали спектаклю выстрелы даль-

нобойиых орудий. Кроме того, чувствуется просто физическая слабость у всех актеров. Запомнилась в небольшой роли служанки неизвестная актриса. Программки не было.

20 декабря.

Сегодня посмотрел на себя в зеркало и испугался. Худой и серый, как тень. Как только на ногах держусь? Придется, видно, уходить с работы. Тяжело.

Очень много людей умирает от голода. Вчера видел, как везли на грузовике гору трупов. Ветром сорвало брезент, которым они были прикрыты.

У немца, видно, есть свои лазутчики в городе. Когда ночью начинается бомбежка, кто-то подает ему сигналы ракетами. Однажды я видел, как такая ракета взвилась с крыши соседнего дома в сторону Красноармейских улиц (там военные казармы). Я вместе с двумя мальчишками бросился в соседний дом. Поднялись на чердак. Но того гада уже и след простыл.

25 декабря.

Иду я в свой госпиталь
В ночной тишине
И вижу — о, господи!
Не снится ли мне?

Война еще, кажется,
Гремит над землей...
Кому это пляшется
На той мостовой?!

Проспекта Майорова
Узнать не могу.
Как пляшут-то здорово
Они на снегу!

Выходит с частушкою
Девчонка одна.
А с виду старушкою
Казалась она.

Пальто подпоясано
Солдатским ремнем.
Как бабка, повязана,
Крест-накрест платком.

Лицо закопченное.
Глазищи на нем,
Как звезды зеленые
На небе ночном.

Да это не чудо ли?
И что ей война!
Со злостью и удалью
Плясала она.

— Скажи ты мне, девушка,
С чего это вдруг?
— Прибавили хлебушка,
Прибавили, друг!

Сегодня подняли норму на хлеб. Рабочим теперь 350 гр., а всем остальным по 200 гр. Все время понижали норму, а сегодня впервые повысили. Значит, какой-то перелом к лучшему.

20-го наши начали наступление в районе Колпина, Пулкова. Заняли несколько деревень. Юра теперь не на фронте, а в городе, в школе лейтенантов. Он говорит, что наши войска под Ленинградом очень истощены. Единственная надежда на войска Федюнинского, действующие с тыла.

Трамваи не ходят, свет очень часто отключают, но вообще чувствуется, что дело идет к лучшему.

5 января 1942 года.

Прошел 1941 год. Он был для меня и для всех нас годом тяжелых испытаний. Он многому меня научил. Все говорят, что 42-й будет счастливым, и я верю в это.

31-го вечером я огорчался, что не удастся встретить Новый год дома вместе со всеми, так как работа — в ночь. Но встретил Новый год хорошо. На работе был доклад, кино «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» и концерт. Я был в чудном настроении: артист, читавший отрывки из «Швейка», нас всех развеселил. Кроме того, перед уходом в госпиталь мы с мамой и папой выпили по рюмочке вина. Женя и Галя были в театре. А вино в этот день было в любом доме, так как выдали под Новый год по карточкам каждому человеку по пол-литра вина. В госпитале мы тоже устроили праздничный стол: перед каждым стоял стакан шампанского и тарелочка с закуской. Закуска была у всех одинаковая — горсточка необыкновенно вкусной сушеной морковки.

В 6 утра привезли партию раненых. На Ленинградском фронте, по их словам, ничего существенного не произошло.

Огромной радостью для всех был новогодний подарок — занятие нашими войсками Керчи и Феодосии. Это было большой неожиданностью и еще большей радостью.

Я сделал себе хорошую карту районов, где сейчас идут бои. Отмечаю, какие города заняты нашими войсками. К 10 января по моим «стратегическим планам» наши возьмут Можайск, Верею, Ржев, Медынь, Сухиничи, а может быть, и что-нибудь покрупней вроде Орла или Курска.

В городе положение очень серьезное. Люди умирают и умирают от голода. Не успевают убирать и хоронить трупы. Вчера вечером я шел в госпиталь, торопился, так как немного опаздывал. Вижу, на тротуаре возле дома лежит мертвый человек. Я позвал дворника этого дома (он обязан был убрать труп) и поспешил на работу, было уже около восьми. А когда сегодня утром возвращался домой, увидел тот же труп возле другого дома. Наверно, дворник перетащил его, чтобы избавиться от лишних хлопот. Я разглядел лицо этого человека. Молодой, лет двадцати...

21 января.

Долго не заглядывал в свой дневник. И сам не знаю, почему. Писать есть о чем, но о невзгодах писать надоедает, особенно, если писать часто.

Уже во время войны Елена Ивановна (режиссер нашей концертной бригады) советовала мне: «Если хочешь меньше чувствовать невзгоды, смотри на них шутя, не падай духом».

Но теперь наступило такое время, что падать духом нельзя, а шутить можно лишь сквозь слезы. Попробую...

Центр культурной жизни страны — Ленинград. Январь 1942 года. Раньше много средств тратили на рекламу «Берегись уличного движения». На каждом шагу встречались плакаты, указатели, даже выставки на эту тему. А теперь... Я ручаюсь головой, что за последний месяц не было ни одного несчастного случая из-за трамвая, так как уже более месяца трамваи в городе не ходят. Троллейбусы тоже. Автомашин очень мало. Под них попасть невозможно, так как об их приближении возвещает резкий запах — машины работают на смеси. Бензин достать трудно. Зато появился новый вид транспорта — санки. На них

перевозят все — начиная от дров и кончая покойниками.

Раньше платили за электричество, теперь не платим, так как света нет. В любой квартире — коптилки. У нас их несколько штук. Из-за этих коптилок все чаще встречаешь на улице настоящих арапов. Иногда в этой роли выступает молодая, когда-то, очевидно, красивая девушка. По ее лицу видно, что она не мылась много дней. В городе очень трудно с водой. Ее приходится возить на санках издалека. Бани не работают. Канализация испорчена.

Дров не хватает. Я пишу сейчас в комнате, но на мне ватник, руки в перчатках.

Хуже всего с продовольствием. Жиры, так необходимые при морозах (до —30), не выдавали с середины декабря. Сахар за январь только позавчера начали давать по 100 гр. на человека. Крупу не давали полмесяца.

На рынке (существует и такой) хлеб стоит 300 руб. кг, масло — 1000 р. кг, коробок спичек — 5 — 10 рублей.

Научились делать новые блюда. Например, из столярного клея — студень. Другой вид студня — из белых ремней.

Радио работает с перебоями. Кинотеатры закрыты.

25 января.

Был у Кости Пантелеева из нашего класса. Он лежал на кровати чуть живой, в пальто и под двумя одеялами. Мама его была на работе — она служит на почте. Я разломал один стул, затопил «буржуйку»... Через день зашел к нему снова. Он уже умер. У нас в классе многие еще не решили, чем будут заниматься после школы. А Костя знал точно, что будет геологом.

16 января взял расчет в госпитале. Во-первых, собирались уезжать (уже в который раз!), а во-вторых, чертовски устал.

С 23 января снова начал посещать школу. Очень многое там изменилось. Умерли директор школы и преподаватель физики Касьян Никифорович.

В классе по списку 15 человек, ходят — 12. Все уроки ведутся вокруг «буржуйки», которая страшно коптит. Все приходят без тетрадей, так как ничего не записываем. Причина того, что школа еще существует,— суп, который дают ученикам и педагогам без карточек по две тарелки в день.

Сейчас стоят большие морозы — 30° ниже нуля. Из-за этого весь город остался без воды, так как выключили сеть. От Невы тянутся целые вереницы людей с ведрами, баками, бочками. Конечно, все на санках. Раньше была забота — убирать снег. Теперь ее нет, снег заменяет воду.

Сегодня после школы отправился на Неву за водой. Недалеко от дома (на углу Майорова и Садовой) санки опрокинулись. Видно, кто-то уже здесь пролил воду, образовался ледяной бугорок, на нем-то я и поскользнулся. Идти второй раз на Неву не было сил. Принес домой в ведре снег.

Наши войска нанесли немцу сильный удар. Новые надежды, что все-таки все будет хорошо, все переживем!

4 февраля.

Находимся в Осиновой роще. Это рядом с Парголовом. В 3 часа мы на машинах должны выехать к Ладожскому озеру, пересечь его,— и до свидания, родной и любимый Ленинград! Буду счастлив, если это свидание наступит скоро.



На площади перед Исаакиевским собором ленинградцы устроили своеобразный огород.

9 февраля.

Через Ладожское озеро колонна машин пошла, когда стемнело. Нас предупредили — если начнется бомбежка, всем машинам очистить дорогу, свернуть вправо или влево. Бомбежка началась, и все машины свернули с дороги. А когда кончилась бомбежка и машины стали собираться, одной недосчитались. Видно, провалилась в воронку от бомбы, которых немало по краям дороги.

На другом берегу озера нас ждал товарный эшелон.



Владимир ЕРМАКОВ,
шофер
московского
такси



У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА...

Фото А. КАРЗАНОВА.

Ничего делать не хочется. Во двор к ребятам не тянет. Телевизор надоел. Устал же я за смену! Сажусь, закуриваю — и весь сегодняшний день у меня перед глазами. Какой это у меня выезд по счету? Седьмой...

Когда я впервые должен был спускаться по пандусу, было не по себе. Сначала пандус — это такой съезд в многоэтажном гараже — казался мне похожим на сверло, серпантин, стружку, но не на сооружение, по которому без приключений может двигаться автомобиль. Первый раз, помню, ехал тихо-тихо... Теперь приспособился: смотрю на треугольничек левого стекла, чтобы расстояние от него до борта пандуса было всегда около тридцати сантиметров. Ух, ух, лево, не зевать!

Направляюсь к воротам. Капот прикрыт неплотно... Закрываю. Масла нужно подлить, водички. Время в путевке отмечено. В дорогу! Плавно набираю скорость: трогаюсь с первой, метров через пять включаю вторую передачу, третью... Еле тащит — значит, мало разогнал. Вот теперь нормально!

ПЕРВЫЙ ПАССАЖИР

Молодой человек в дубленке говорит: «Беляево-Богородское!»

Если не для меня лично, то для таксомоторного парка п е р в ы й «дорогой» пассажир, то есть такой, которому надо уехать как можно дальше, очень выгоден. Это потом можно добирать до плана хоть по полтинничку.

Профессионально показывает дорогу.

— У вас что, своя машина есть?

— Только права.

Голос у него тонкий, а так неплохой пассажир, на вопросы отвечает охотно. Это раньше я все психовал: как же сумею работать, если не знаю Москву? Сам ведь я из Подмосковья, живу за Химками. А вот так и узнаю этот огромный, красивый и запутанный город — благодаря самим пассажирам, а не карте, где все слишком мелко.

Остановка. Товарищу в дубленке требуется заскочить в желтый дом около Киевского вокзала. Видно, за деньгами. Зажигание пока выключу: бензин надо экономить. Ого, машина-«мойка» никак не протиснется между домами и вереницей такси. Вылезаю, руками указываю путь так, что сигарета гаснет. Вот на такой же махине «ГАЗ-51» работает и мой Сережа Пилипенко: друг и сосед по парте из 154-й группы, вместе учились на шоферских курсах... Сегодня позвоню, выясню хоть, как живет, какие возит грузы...

Снова сигарета потухла. Что-то задерживается «выгодный пассажир». На заднем сиденье оставил «залог» — книгу. Отсюда можно разобрать название: «Ошибка резидента». Учится парень где-то или возит какого директора. А что касается ошибок, то они бывают не у одних резидентов. И у меня были...

Нет, пассажиры, которые отказывались бы платить, мне еще не попадались. Но один убежал-таки от «расплаты». Был он черный, крупный, голос грубый. Подобрал его на Соколе. Всю дорогу рассказывал о себе, что он, мол, тоже шофер. Кричал:



Игорь
ПЕЧЕНЕВ

ЦЕНА ОЗЕРА

Рисунок И. ХОХЛОВА.

В середине октября мы — я и мои два спутника, один из которых, имишлинец Али-Гусейн, был водителем «газика»,— странствовали по золотоосеннему Карабаху. После многих встреч с людьми этого края, после долгих дорог по благодатным солнечным долинам, после серых хребтов Карабахского нагорья и серых уже пастбищ с остатками на них того, что летом было сочной зеленой травой, мы в один из дней выехали на хребет очередной горы и увидели чудо. Оно лежало внизу под нами, на дне котловины с крутыми склонами. Будто гигантский голубой глаз глядел во вселенную из запавшей глазницы. Это был Карагёль. Если перевести с азербайджанского — Черное озеро. Овальной формы, в окружности километров десять.

Мы вылезли из машины и стояли обалдевшие от этой встречи. Над нами по синему небу с запада на восток низко мчались всклокоченные облака, гонимые мощным воздушным потоком. Солнце исчезало, появлялось, вновь исчезало. Благодаря нескончаемой игре движущихся пятен света и тени озеро и все вокруг казалось живым. Можно подумать, мы стояли на теле гигантского хамелеона, который беспрестанно меняет свою окраску.

Я влюбился. Это не преувеличение. Подтверждение тому — моя верность Карагёлю. За прошедшие с тех пор четыре года шесть раз побывал там, раз даже в феврале, когда озеро покрыто полуметровой толщины ледяным панцирем, когда ветер валит с ног, когда горы вокруг него становятся царством снежных буранов. Одни названия этих гор чего стоят! Кечель-даг, Джан-Гуртаран, Дели-даг, Беюк-Ишиклы, в переводе на русский — Лысая, Прощай-Жизнь, Безумная, Великая-Светлая.

Опять я на Карагёле. Опять осень — конец сентября. Мы живем в палатке, нас двое. Погода не балует. Днем сумасшедший сквозняк гоняет над озером клубы сизого тумана по коридору, образованному склонами Кечель-дага и Беюк-Ишиклы. Дождь сменяется градом. Затем в воздухе начинают роиться белые пчелы. Вдруг опять выглянуло солнце. Ну, пожалуйста, не прячься!.. Но вскоре все начинается сначала.

А ночи ясные и холодные. Под вечер небо очищается. Стихает ветер. К полуночи из-за горы встает позлащенная луна, чуть на ущербе. К утру наша палатка, берег делаются серебряными — от инея. На дне котелка вместо воды лед. Мы начинаем наш день с чаепития — чтобы согреться.

Поистине все течет. Еще два года назад я заметил: воды в озере стало меньше. Сейчас она еще больше убыла. В пологих местах берег обнажился на три-четыре метра. Выглянули из воды макушки прибрежных камней, прежде скрытые от глаз. Два года назад я решил: «Из-за бесснежной зимы. Из-за летней засухи...» Но вот минувшая зима прошла здесь с большим снегом. Весной и летом лили обильные дожди. Однако воды в озере даже по сравнению с прошлым, засушливым и бесснежным годом стало еще меньше.

Сейчас я уже, конечно, знаю, в чем дело. От зари до зари над озером и далеко окрест разносится нескончаемое тарахтение, заглушающее всплески живущей в озере форели. В каменном домике с плоской крышей на южном берегу озера поставлен мощный дизель-насос, который забирает воду из озера и гонит ее по толстым трубам за десятки километров в одну из горных деревень — на ферму,

говорят. В каком-то смысле Карагёль — Севан в миниатюре, тот самый больной сейчас Севан, на помощь которому пришли люди, пробивающие более чем сорокакилометровый тоннель в Варденисском хребте, от реки Арпа-чай.

Но Севан — это Севан...

— Что поделаешь?.. Колхозной ферме нужна вода. Нужна,— говорит Стасик.

Стасик — мой товарищ, мой спутник — молодой ветеринарный врач, трудится в одной из московских ветеринарных лечебниц. Мы вместе проводим отпуск. Уж кому-кому, а ему-то хорошо известно, что без воды иа животноводческой ферме никак нельзя.

Стасик по натуре — дитя города до мозга костей. Сейчас, после двадцатипятидневных скитаний по Кавказу, его урбанизм принимает прямо-таки гипертрофированный характер. Он хочет домой. Хочет надеть свежую рубашку и устроиться перед телевизором в кресле-качалке. Хочет сходить в кино — в «Россию». Хочет в Лужники иа хоккейный матч — ЦСКА — «Спартак». Хочет утром принять тепловатый душ. И вечером — тоже. Хочет кофе из автомата. Хочет пива «Московского», сигарет «Столичных». Хочет перед сном сыграть по телефону в шахматишки с приятелем. Хочет, наконец, даже просто московского хлебушка, «столового» или хотя бы кефиру Останкинского молокозавода. Рост Стасика — метр девяносто, однако кипарисом его не назовешь, в нем весу 110 кг. Вчера за завтраком, когда мы ели отменный бараний шашлык, он сказал на полном серьезе: «Эх, сейчас бы кашки манной, на молоке!» Я точно знаю: дома в Москве он манную кашу не ест. Просто в последние дни я замечаю, что природа уже перестала служить для него источником «положительных эмоций». Он словно ослеп: не видит ии озера, ни гор, ни низких осеииих звезд, кроме одной, той, что крайняя в хвосте Малой Медведицы,— в той стороне его дом. Стал раздражительным и довольно нетерпимым. Мы все чаще поругиваемся: один, по мнению другого, ленится мыть грязную посуду, другой якобы увиливает от заготовки топлива для костра на ночь; ему, я вижу, не нравится, что я ежедневно бреюсь (он говорит: «Кокетство перед самим собой? Игра в джентльменство!»), а меня вдруг стала раздражать его манера смачно, с причмоком затягиваться дымом сигареты («Это ли комильфо?» — обличаю я его про себя).

Я не ослеп. И я не урбанист. Но, честно говоря, и я уже скучаю по дому. Вкус манной каши на молоке еще не преследует меня. Но если бы мне предложили кашки, не отказался бы.

Нас четверо у костра: я, Стасик и двое местных, из деревни Карыкышлак, что километрах в двадцати отсюда. Один — чабан по имени Кара, второй — его брат, учитель сельской школы, преподаватель истории Чингиз.

Кара — крупнотелый, жилистый, статный, лет под пятьдесят. Глаза широко поставлены, светлые, молодые. Голос низкий, с приятной хрипотцой, темпераментный. В Каре есть что-то лихое, я бы даже сказал, ковбойское: узкие, заправленные в сапоги брюки (отнюдь не джинсы) плотно облегают длинные крепкие ноги; на кисти правой руки — камча. Кстати, конь его пасется где-то неподалеку. Вот только овчинный полушубок на крутых, молодецких плечах — не из той, как говорится, оперы.

Чингизу не больше тридцати. Он совсем не похож на брата: небольшого роста, лицом невидный, взгляд серьезный, чуть с грустинкой. Немногословен. Он приехал сегодня верхом — помочь брату.

Ярко горят куски спрессованного овечьего помета. Его в каменных загонах многолетние залежи.

С противоположного берега доносится: «Та-та-та-та-та-та-та-та...» Работает дизель на водокачке. Холодно. Завтра Кара и Чингиз погонят колхозную отару вниз в долину. Она здесь последняя. Все другие уже ушли. Днем братья разобрали алачиг, эту ночь будут спать под луной. У них оставались помидоры — целый ящик. Не тащить же с собой в деревню. Принесли нам. Так мы познакомились.

Сейчас мы ужинаем у нашей палатки. Плоские камни заменяют нам стулья, столом служит ящик, накрытый клеенкой. Толкуем о том о сем. Разговор заходит об обмелении озера и причинах этого.

— Раз воду берут, значит, так нужно.— Стасик-ветеринар в союзе со Стасиком-урбанистом да еще снедаемый тоской по домашнему очагу берет верх над Стасиком — любителем природы. Все остальные, в том числе и я,— на стороне Карагёля. Хотя должен сказать, я бывал в маловодных селах этой местности, знаю, какая это беда.

Кара внезапно раздражается:

— Говоришь, колхозной ферме вода нужна, да? — Он смотрит в упор на Стасика, в его взгляде прямо-таки неприязнь.— Одной ферме нужна вода! Одной! А этот Карагёль нужен многим. Понимаешь? В нашем районе живут тысячи людей. И что?.. Из-за одной фермы должны страдать все, да? Соображать надо, когда говоришь, эй, парень!

Ясно, Кара ничего не знает про ветврачебную специальность Стасика, не знает и про манную кашу на молоке, состряпанную весьма мастерски в этих горах без всяких там кастрюлек и прочего немудреной штукой — тоской по родным местам с мудреным, заморским названием — ностальгия. Увы, не знает, а то бы, возможно, не был с ним так резок.

— Почему страдать? Для ваших отар воды достаточно,— объясняет Стасик-детерминист.

— Э-э, разве только в этом дело, да!..— горячится Кара.— Как ты не понимаешь, парень!.. Ты что, воду сюда приехал пить, а? Карагёль не просто вода!

— Но в то же время и вода,— не сдает своих позиций ветеринарный врач.— Ферма — это тоже люди, и скот, и молоко, и мясо, и шерсть, и прочее, и все это тоже нам, людям, тебе и мне.

— Карагёль — это Карагёль! Озеро, да! Озеро — разве вода? Пойми, ты! — втолковывает, волнуясь, чабан.

Я понимаю мысль и чувства Кары, которые он сейчас, возбужденный, не в состоянии передать, хотя вообще-то он довольно правильно говорит по-русски. Мне кажется, и Стасику не так уж трудно понять его. Я улавливаю в лице Стасика, в интонациях его голоса признаки понимания чувств Кары (должен, леший тебя возьми, понять, раз ты детерминист знающий, что все взаимозависимо!). По-моему, Стасик уже дрогнул.

— Все-таки и вода,— настаивает он тем не менее. Однако мне сдается, он делает это больше по инерции, по закону, если можно так сказать, кухонного спора: нет, так, нет, вот здак...

— Понимаешь, друг,— встревает в разговор Чингиз, обращаясь к Стасику,— прежде сюда пригоняли скот даже жители отдаленных, низменных районов Азербайджана, а еще раньше — ханства Карабахского, а еще много-много раньше древнего Арцаха, древнего Пайтакарана и кто еще знает какой древней страны. И так было испокон веков.

Чингиз хорошо, красиво говорит по-русски. Чувствуется, умен. Закончил Бакинский университет. Мне уже известно: он аспирант-заочник Ленинградского пединститута имени Герцена. Держится с достоинством. В манере его говорить есть степенность. Я уверен, он точно так же терпеливо, четко дает объяснения своим ученикам на уроке.

— Возникали, исчезали государства на этой земле,— продолжает Чингиз спокойно,— умирали, сменялись правители. Оставался народ. Жизнь карабахцев была связана с Карагёлем экономически. Но, кроме того, друг, согласись, Карагёль был бессменным украшением этих серых, однообразных каменных гор и, конечно же, просто доставлял людям эстетическое наслаждение, которого порой не чувствуешь, как не чувствуешь воздуха, коим дышишь. Однако попробуй останься без этого воздуха... Я убежден, друг, наш Карагёль влиял на жизнь и характер, на представления наших предков об окружающем мире, как бы учил их, рассказывал им, что на свете есть не только пустынные горы, не только бесформенные камни и серый цвет всех оттенков, а еще нечто совсем другое, гармоничное, ласкающее глаз, заряжающее человеческую душу — серебристый под солнцем водяной простор, голубой, синий, фиолетовый, прозрачный, чистый, как слеза; нечто такое, на что отрадно смотреть, от чего не спешишь отвести взор, с чем, раз увидев, не хочешь расстаться, как не хочешь расстаться со своим счастьем.

— Да, да, так, так,— кивает головой Кара, хотя, откровенно говоря, я сомневаюсь, доходит ли до него весь смысл, все тонкости только что сказанного сейчас его братом.

Они очень непохожи: один — простой чабан, второй — учитель, завтра, возможно, научный работник. У них один отец, одна мать. Что сделало братьев такими разными? Те двадцать лет, что легли между ними? Много воды утекает за двадцать лет (также и в буквальном смысле, чему пример Карагёль). Каждый из них — дитя своего времени, определенных жизненных обстоятельств. И еще я думаю: не являют ли эти люди собой как бы этап в слиянии физического и умственного труда — пока еще не в отдельной личности, пока только в рамках одного рода, одной семьи, в поколении сыновей?

Да, толково говорит Чингиз, словно лекцию читает. И с душой.

Смотрю на Стасика: он задумался, сидит серьезный. «Усваивает лекционный материал...— иронизирую я над ним в душе. Теперь я знаю точно: оппонент в нем дрогнул, тает, как ледышка на горячей ладони.

Некоторое время молчим. Однако, оказывается, это — затишье перед бурей. И вот грянул первый гром.

— Взорвать к черту водокачку! — зло бросил Кара.— Заложить ночью аммонал — шарах! — и озеро спасено.

Тут хочется возразить даже мне.

— Это не выход,— говорю я.— Угодишь за решетку. Это — вредительство, Кара.

— А губить озеро не вредительство?

— Но мотор-то при чем?

— Взорвать! — твердит он.

— Другой мотор поставят,— объясняю я.

— Опять взорвать!

— Так это же война. А ты, выходит, сапер-подрывник? — съязвил Стасик. (Эге, не растаяла еще ледышка!)

Кара несколько секунд молчит, затем отвечает серьезно, даже чуть торжественно, понизив голос:

— Да, война. Когда родина в опасности, за нее воюют. Я воевал в Отечественную... Когда был на



фронте, вспоминал село, родных. И Карагёль тоже. Даже снился он мне. Сколько земель прошел, а такого красивого озера, как наше, не встретил нигде. На Днепре, на Дону был,— вспоминал Карагёль.— Под Сталинградом был, на Волгу смотрел, а в глазах — Карагёль.

— Это понятно,— перебил его Стасик.— Ассоциативное мышление.

— Ничего тебе не понятно! — тотчас перебил его Кара.— Скажи, ты мясо любишь кушать?.. Любишь... Все любят. А овцы любят траву. Понимаешь?.. Стадам нужны пастбища. Пастбища! Понимаешь?! Здесь летом до двух десятков колхозов пасут свои отары. В других местах воды нет — и травы нет. Одно от другого зависит. Понимаешь? А здесь Карагёль, он поит пастбища. Мы, чабаны, заметили: меньше стало воды в озере — и травы на склонах тоже. Внизу родники пересохли — это отчего, думаешь? Небось, там у себя за свои реки и озера болеете. Недавно мы картину видели — про озеро в Сибири...

— Про Байкал,— подсказал я.

— Так то Байкал! Жемчужина,— развил Стасик.— Гордость всей нашей страны! Байкал уникален!

— Где он, твой Байкал? Далеко,— проворчал чабан.— А Карагёль рядом. Каждый день, каждый час видим и слышим, как сосут его кровь!

Он именно так и сказал: «сосут его кровь».

— Напишите в газету, в райисполком,— примирительно заметил Стасик. Кажется, ледышка должна-таки вот-вот растаять.

— Будто не писали! Что толку? — махнул рукой Кара.

Брат его сказал, как бы в ответ на какие-то свои мысли:

— Конечно, на ферме тоже без воды нельзя.

— На ферме, на ферме!..— зло сверкнул глазами на брата Кара.— Весь район знает: воду берут не только для фермы. Чистейшая горная вода идет на полив. Это против закона!

— Но и ферма пользуется,— вставил Чингиз.

— Для фермы можно вырыть артезианскую скважину.

— Очевидно, скважина — это гораздо дороже,— заметил Стасик.

— Дороже, говоришь? — закипятился опять Кара.— Дороже, да? Значит, ты знаешь цену нашего Карагёля, да? Ну, ты знаешь?.. Ты?..— Он едва перевел дух.— Так знаешь, да? Тогда скажи нам, чтобы и мы, дураки, узнали. А то нам, болванам, кажется, что нашему Карагёлю нет цены в деньгах! Скажи, сколько стоит солнце? Сколько стоит луна? Знаешь, да? Сколько стоит вот эта земля, что у тебя под ногами? Скажи, знаешь?

Водокачка колотила: «Та-та-та-та-та-та...»

Кара поднял на уровень уха указательный палец, замер. Затем кивнул в ту сторону.

— Значит, тебе нравится этот джаз, да? — Он сверлил Стасика гневным взглядом, словно тот был владельцем водокачки. Снова сказал, накаляясь: — Сосет, сволочь! Уничтожает Карагёль! Сосет кровь прямо из нашего сердца! Из моего!

— Кара, нехорошо,— одернул его Чингиз.— Наши гости...

Кара покосился на брата.

— Наши гости! Гость — один день гость, затем хозяин,— вставил он поговорку.— Они здесь уже с неделю.— Кивнул на палатку.— Вон и дом у них есть и обед, даже нас угощают...— Он взглянул на меня, и я заметил, что в глазах его уже нет гнева. Скорее в них была даже растерянность: очевидно, он почувствовал, что переборщил. Спросил: — Который год, племянник, ты бываешь здесь, на Карагёле?

Я ответил ему.

— Ну, а ты как считаешь, хорошо будет, если исчезнет озеро? — задал он мне вопрос.

— Но почему оно должно исчезнуть? Почему? — опередил меня Стасик. (Нет, ледышка еще не иссякла.)

— Раз вода убывает, значит, она когда-то кончится,— высказал Кара аргумент, подсказанный здравым крестьянским смыслом.

— Ну, это еще не известно,— парировал Стасик.— На наш с вами век, я думаю, озера хватит.

— А нашим правнукам что? Что они скажут про нас?

— Наши правнуки без воды не останутся. К тому времени люди научатся добывать воду даже из воздуха...

Кара не хочет успокаиваться:

— Еще не известно, какой воздух им достанется... после таких, как ты!

Стасик о чем-то думает. Может, вспоминает то лето, когда он в числе многих москвичей ездил в район Шатуры на помощь тем, кто неделями в дыму боролся с торфяными пожарами?

Кара поднялся с камня, сказал:

— Спокойной ночи. Пошли, Чингиз! — сделал несколько шагов в сторону и остановился спиной к нам, поджидая брата.

Но Чингиз не ушел. Я видел: и не собирается уходить. Достал пачку сигарет, закурил. Протянул нам. Мы со Стасиком взяли. Это не были «Столичные», но сейчас для нас они были как бы трубкой мира.

— Иди укладывайся, я еще посижу тут,— сказал он брату.

Когда тот отошел, заговорил негромко:

— У меня сынишка Джамиль во второй класс пошел... Как-то я сказал дома при нем: «Карагёль мелеет, уменьшается. Уходит вода». Утром это было. Вечером подошел к его кровати, смотрю: не спит, думает о чем-то. Спрашиваю: «Что случилось, сынок?» Говорит: «Папа, жалко озеро. Неужели вся вода уйдет?» Значит, он, мальчик, весь день про озеро думал. Небось, и товарищам своим сказал. Я тогда подумал: «Нехорошо. Наши дети будут расти и знать: скудеет земля».

— Вообще-то согласен с вами,— кивнул Стасик. Конец ледышке! — Хотя считаю, что страна — это нечто большее, чем Карагёль. То есть страна не только Карагёль.

— Да, большее,— сказал Чингиз бесстрастно,— но отними от страны наш Карагёль, ваши подмосковные березы, еще что-нибудь — что в конце концов останется? Нет, страна — это все: и земля, и люди, и наша жизнь, и наши законы.

Мы помолчали. Водокачка обстреливала нас и всю вселенную над нами нескончаемой пулеметной очередью: «Та-та-та-та-та-та-та-та...»

Чингиз вздохнул:

— Да, люди волнуются за судьбу озера. Многие писали и пишут. Кара не сказал вам всего: сейчас он собирает подписи. Говорит: соберу тридцать тысяч подписей — сколько жителей в районе, махну в Баку, тогда уж точно — конец водокачке. Написал в сельсоветы дальних деревень: шлите подписи! Надеется. Вы не обижайтесь на него, ребята. Не повезло ему. Это мы сокращенно зовем его Кара... А ведь полное его имя — Карагёль.

— Вот как? — удивился я.

— Да, есть у нас такие странные имена. Скажем, родился сын. Отец утром выходит из дома, видит: выпал снег. Так и сына называет — Кар-ягды. Брат родился здесь, прямо на берегу, в алачиге. Так получилось. Роды, извините, что об этом говорю, застали

нашу мать на Карагёле. Отец обрадовался — мальчик! И имя ему сразу шлепнул — Карагёль. А теперь озеро хиреет. Да, жалко брата. Кто знал, что так будет? Потому и кричит: взорвать, взорвать! Не сердитесь на него.

— Я не сержусь,— сказал Стасик.

— Его тоже понять надо,— добавил Чингиз.

— Да,— сказал Стасик,— теперь все понятно. Здесь он родился. Карагёль — его тезка, его родина.

Мне вспомнились слова песни. В самом деле, с чего она начинается, наша родина?

Спустя три дня мы распростились с Карагёлем.

Шли месяцы. Вспоминал озеро, будто больного, жалел. И вот недавно получаю письмо. Разумеется, заказное. Разумеется, с уведомлением о вручении. На штемпеле: «Карыкышлак». От Чингиза Мехралиева. В конверте не было никаких справок, вложений и прочего, оправдывающего род письма, однако я не посмеялся в душе над этой крестьянской закваски «бдительностью», настолько содержание его было для меня серьезным, можно сказать, «документально-историческим». Из него я узнал, что Кара собрал-таки тридцать тысяч подписей в защиту озера, поехал в Баку, где-то был принят, понят, обнадежен. «А недавно,— писал Чингиз,— из Баку приезжала комиссия, составила акт об уменьшении уровня воды в Карагёле, о загрязнении озера соляркой от водокачки».

Во второй части письма Чингиз сообщал, что его племянник, то есть сын Кары, Али Мехралиев поступил этим летом в Московский химико-технологический институт имени Менделеева, изучает кибернетику. Писал, что они беспокоятся за английский у парня, так как «...наш школьный учитель, молодой человек, немного слабоват...»; дружески и по простоте душевной просил меня «...поинтересоваться жизнью и учебой нашего Али».

Карыкышлак и кибернетика! Конечно, можно найти более удивительные приметы нашего времени. И все-таки это известие было для меня приятной неожиданностью.

«Ну, энергия! — подумал я.— Далеко ты шагнул, карабахский чабан Кара — умом, кровью и плотью своего сына! От самого Карагёля, из царства вечного снега, из войлочного алачига — прямо в сердце страны».

И в «делах» озера, значит, есть какое-то движение. Раз была комиссия... Но что за комиссия? От какого ведомства? Насколько велики ее полномочия?

Я заказал телефонный разговор: Москва — Баку — Лачин — Карыкышлак — сельсовет, по уведомлению вызвать Чингиза Мехралиева. Кара, я полагал, еще не спустился с гор. Хотя твердо не был уверен в этом: как-никак на дворе октябрь. «От двадцати трех»,— пообещала телефонистка. В два часа ночи мне категорически заявили, что линия Лачин — Карыкышлак неисправна. «Снимаете заказ?» — спросили меня. «Попытайтесь еще раз,— попросил я,— очень надо». Под утро, часов в пять, меня разбудил властный трезвон. Произошла эстафетная перекличка телефонисток, завершившаяся характерными тресками, шорохами, мертвым молчанием, опять треском, затем, наконец, я услышал очень-очень далекое:

— Алё!.. Алё!.. Карыкышлак слушает...

Это был Чингиз. Мы начали наш разговор, а по существу, старались докричаться друг до друга помимо телефона — через Кавказский хребет, через горы и долы, настолько слышимость на линии была плохая, а трески и шорохи хорошие. Временами связь вообще прерывалась, и тогда мы пытались прибегать к телепатии. Кажется, немного получалось. Когда мне в конце концов удалось объяснить Чингизу, что меня интересуют последствия пребывания комиссии на Карагёле, он вдруг сказал:

— Погоди, Кара здесь, рвет трубку...

Я услышал довольно отчётливо:

— Алё, это Москва?.. Москва говорит?

— Здравствуй, Кара, это я...— И назвал себя.

— Это Москва?.. Москва?! — восклицал чабан.

Слышимость стала получше.

— Привет, Кара! Как поживаешь? Не узнаешь меня?

— Как не узнаю? Узнаю! Салам! — И опять: — Это Москва? Москва?

Он хотел говорить только с Москвой. И мне пришлось сдаться натиску горца. Принудил-таки меня.

— Да, да, это Москва, Кара! — И поправился: — Я говорю из Москвы.

Конечно, немного обидно, что ты для человека не сам по себе, а только то и значишь, что из Москвы, из столицы. Но я поспешил утешить себя мыслью, что подобное представительство вовсе не такая уж беспочетная вещь.

— Значит, Москва?! — настойчиво гнул свою линию Кара.— Москва?

Я подумал, что он как бы дает мне понять, на каком уровне хотел бы вести переговоры, и потому принуждает меня взять на себя почетные полномочия. Ясно, Кара — одержимый собиратель подписей за спасение озера, борется за него, и ему нужны солидные союзники. Он верит в Москву, ему нужна Москва, ее представители как минимум. Оказавшись волею натиска упорного горца вознесенным на этот незаслуженно для меня высокий пьедестал, где любой голове не мудрено закружиться, я, естественно, сказал совсем не то, что хотел и что должен был сказать. Спросил:

— Как озеро, Кара? Что могу сделать для вас? Что-нибудь надо?

Будто я мог что-то сделать!

— Ничего не надо, спасибо, племянник, живи сто лет! Мы сами все сделаем.

Я даже испытал легкое разочарование. Спросил механически:

— Кто это мы, Кара?

— Как кто? Мы, жители Лачинского района! Народ, народ, племянник! Народ!

Три тысячи километров отделяли нас. Но я ощутил, как завибрировала вдруг и стала накаляться в моей руке телефонная трубка — от страстного голоса Кары. Слышимость стала совсем идеальной. Словно человеческая энергия чабана трансформировалась в электрическую и поднимала напряжение в телефонном кабеле.

— Как водокачка? — поинтересовался я.— Стреляет еще?

— Пока стреляет, проклятая! Лупит по озеру. Но теперь и у нас есть оружие, племянник! Е-е-есть!

— Аммонал? — не удержавшись, поддел я его.

— Ерунда — аммонал! Чушь! — гремел Кара.— Законы!.. Законы!.. Ты газеты читаешь?.. Не бойся, племянник, победим!

●

«КАТЯ ФИЛИПЕНКО — МОЯ ДОЧЬ»



Уважаемая редакция! В третьем номере журнала «Юность» за 1975 год опубликовано письмо И. М. Покровской-Петербургской, которая разыскивает свою подругу периода Отечественной войны, Катю Филипенко.

Катя Филипенко — моя дочь. Я — ее отец, Федот Филипенко. Да, она участвовала в Отечественной войне, и на фотографии в журнале действительно она. Но в настоящее время ее нет в живых. Катя умерла в 1949 году. Она болела туберкулезом, лежила в больнице, в городе Краснодоне, Ворошиловградской области; там она и похоронена.

Мой адрес: пос. Щетово, Ворошиловградской обл., ул. Пархоменко, № 19.

О получении письма прошу сообщить.

Ф. Филипенко.

Дорогой Федот Трофимович! Редакция журнала «Юность» благодарит Вас за то, что Вы, прочитав наш журнал, написали нам несколько строк о Кате.

Публикуя фотографию Кати и письмо ее фронтовой подруги И. М. Покровской-Петербургской, мы надеялись, что нам удастся рассказать читателям о том, как сложилась после войны жизнь этой замечательной девушки, уже в двадцать лет награжденной боевым орденом Красной Звезды. Оказалось иначе.

Мы бесконечно сочувствуем Вашему горю и вместе с Вами гордимся Вашей прекрасной дочерью.

С глубоким уважением

Редакция «Юности»

Читатели «Юности» с горечью прочтут сообщение о безвременной смерти Кати. Всего через три года с небольшим после окончания войны Катю Филипенко убил туберкулез, приобретенный в фашистской неволе.

Но редакция получила и другое сообщение. Мы узнали, что Катя к окончанию войны, в 1945 году, когда ей было всего двадцать лет, узнала и личное счастье. Катя любила и была любима. На фронте незадолго до окончания войны она вышла замуж за своего однополчанина, лейтенанта Юрия Петровича Алексеева, а в ноябре 1945 года у нее родился сын Владимир...

Владимир Филипенко увидел портрет своей молодой мамы в третьем номере нашего журнала. Тот самый портрет, который хранили для него дедушка и бабушка, родители его отца, погибшего 6 апреля 1945 года, за месяц до Победы над фашистской Германией.

Тут же Владимир приехал в Москву из Ленинграда, где он преподает в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Приехал, чтобы узнать адрес И. М. Покровской-Петербургской, расспросить ее о Кате. По просьбе редакции Владимир передал нам драгоценные реликвии своей семьи: три последних письмеца Кати Филипенко с фронта родителям Юрия Алексеева, справку о браке Кати и Юрия за подписью командира их части и свидетельство о своем рождении, а также старенькую открытку с портретом Кати, опубликованным в нашем журнале.

Письма Кати мы публикуем ниже.

ОТКРЫТКА ПЕРВАЯ:

г. Казань, Овражная № 18-2, Алексеевой Анаст. В.

Здравствуйте, мамуся и папа! За 4 дня походов получили от вас 6 писем...
Большое спасибо, родные, за Вашу родительскую заботу.



Катя Филипенко с сыном Володей.

Вот сейчас мы сидим с Юраськой у костра. Он ремонтирует ручку. Мороз. Идет небольшой снежок. Теперь мы с Юраськой вместе и работаем и отдыхаем. «Квартира» у нас сейчас очень свободная — у костра уже 4-й день обогреваемся.

Мамуся и папа! Не обижайтесь, родные. Писать будем редко. 4 дня передвигались, а на днях вступаем в бой. От папы стали часто получать письма. Из дому тоже пишут.

Пока до свиданья, родные. Целуем Вас.
Ваши Катя и Юрий.

Полевая почта 19738
Филипенко Ек. Ф. 7/I 45 года.

ОТКРЫТКА ВТОРАЯ:

Здравствуйте, мамуся и папа! Простите, что долго молчала. Одно — то, что мало времени, а второе — немного заленилась.

Но Вы простите, правда? Вы согласитесь? Вот хорошо!

Живем хорошо. Здоровье превосходное. Успехи в боевых делах еще лучше. Идем и идем каждый день вперед на запад. Все яснее виден близкий конец войны. Вот пока все. До свиданья. Привет всем.
Ваши Катя и Юрик.

28.I.45

ОТКРЫТКА ТРЕТЬЯ:

Папа, здравствуйте! Вот теперь Вы не беспокоитесь о нас? Сегодня мы получили от Вас 2 письма от 11/I 45 г. Никогда не думайте, что с нами что-то нехорошее; мы всегда будем живы и невредимы. Живем хорошо, здоровье замечательное.

До свиданья, родные. Целуем Вас.
Ваши Юрик и Катя.

Укр. фронт. Одер 23.II.45.

Сыну двух молодых фронтовиков, Володе Филипенко, сейчас двадцать девять лет. Он старше своих отца и матери, не проживших и четверти века, он не знал отца и почти не помнит маму. Родители Юрия Алексеева — Анастасия Владимировна и Федор Степанович—вырастили своего внука, дали Володе высшее художественное образование; у него интересная работа. Бабушка умерла, дед Федор Степанович живет с ним в Ленинграде...

Так, разыскивая юную героиню войны, мы нашли ее сына и познакомились с военной судьбой еще одной семьи, судьбой нелегкой, но благородной и достойной.

●

Музафер Дзасохов







Перевел с осетинского Л. ШЕРЕШЕВСКИЙ.

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

В горах

Ветви подняты в небесный пламень,
Корни в гору погрузились, в глубину.
Ухватилась ли сосна за камень
Или камень ухватился за сосну!

Две песни

Терека песнь мне слышна повсеместно,
Жизнь она сопровождает мою...
Песню пою я, но мне неизвестно,
Слышит ли Терек, как я пою!

Снег

Ну, как ты можешь жизнью жить такою:
Чистейшими снежинками белеть,
Рождаться высоко над головою,
Чтоб после под ногами умереть!

Мечты

Мечтами крылатыми властно влекомы,
В пути их догнать мы пытались не раз.
Они, словно синяя даль окоема—
Чем ближе к нему, тем он дальше от нас.

Смелость

Всему настанет время умереть.
Бессмертна только смелость удалая:
В грядущее летит она, пылая,
И смерть боится в том огне сгореть.

Песня рек

К высям гор любовным излияньем
Из ущелий рвутся песни рек.
А иначе б горы со вниманьем
Их не слушали за веком век.

Немота

Ты только на словах любить привык.
Струится речь, а чувство пересохло...
Уж лучше бы немым стал твой язык,
Чем сердце онемело и оглохло!

Виктор ЖАРОВ, Виктор ШИКАН

КИБЕРНЕТИКА ПОЛЯ

Рисунки Е. ЛЕХТА.

Еще не так давно специалисты в области растениеводства и животноводства работали под лозунгом, чем-то напоминавшим архимедовский: дайте нам технику, и мы поднимем производительность труда. Техника появилась, производительность труда, действительно, возросла во много раз. Но одновременно возникли проблемы, о которых раньше не задумывались и самые отъявленные прогнозисты. Ибо образовались новые (особенно если смотреть с позиций кибернетики) системы: машина — растение, машина — животное. И в них начали действовать не только прямые, но и обратные связи.

Коль речь зашла о кибернетике, да еще в сельском хозяйстве, необходимо объясниться. Испокон века конструкторы, создавая сельскохозяйственную технику, специализировали ее для выполнения строго ограниченных функций, применительно к области, в которой она должна работать. Скажем, кукурузоуборочный комбайн проектировали, учитывая высоту и толщину стеблей, размер и форму початков; присоскам доильных агрегатов придавали форму, соответствующую форме коровьего соска. Иначе говоря, машину приспосабливали к физиологическим особенностям живых организмов. Это была обычная, прямая связь между природой и техникой.

Но вот на свекловичной плантации конструкторы ощутили необходимость позвать на помощь селекционеров. От них потребовали вывести односемянную сахарную свеклу, поскольку существующие разновидности чересчур усложняли механизацию сева и прорывки. Подобные трудности возникли и при механизации виноградарства: чтобы машины могли освоить все стадии производственного цикла, понадобились новые сорта винограда. Так впервые напомнили о себе обратные связи системы машина—сельскохозяйственный объект. Приспосабливать, как оказалось, нужно не только машину к растению или животному, но и наоборот — вносить изменения в живые организмы, реконструировать их с тем, чтобы машине «было сподручнее».

И перед селекционерами, которые, пожалуй, показывают один из лучших примеров того, как нужно идти к будущему, встали принципиально новые задачи. Если раньше они заботились лишь о том, чтобы вывести более продуктивные, устойчивые к воздействиям погоды и климата сорта растений и породы сельскохозяйственных животных, то теперь пришлось задуматься об их «технологичности».

Первые шаги уже сделаны: удалось создать породу коров с чашевидным выменем, лучше всего подходящим для автоматического доения. Сейчас делаются попытки селекционными методами укрепить копыта коров: это нужно для того, чтобы животные не травмировали ноги на решетчатых полах современных ферм. Вообще внедрение механизмов и новых технологий в сельском хозяйстве требует известной стандартизации коров по размерам и продуктивности, способности к молокоотдаче и т. п. Очевидно, в ближайшем будущем возникнет необходимость учитывать даже такие особенности животных, как темперамент, характер физиологических рефлексов и т. п.

Интересно, что в капиталистических странах к такому преобразованию животных и растений толкают не только чисто производственные нужды, но подчас и социальные факторы. Десять лет назад в Соединенных Штатах под давлением профсоюзов запретили использовать в сельском хозяйстве труд наемных рабочих, массами приезжавших в уборочный сезон из Мексики. Результат не замедлил сказаться: в Калифорнии, например, где выращивают много помидоров, требующих ручной уборки, немалая часть урожая оставалась на полях. Ну что ж, сказали инженеры, мы придумаем хорошую машину. Придумали, и действительно неплохую: встряхивая ботву, она заставляла опадать в специальные корзины дозревшие томаты. Зеленые оставались на кусте. Казалось бы, прекрасно? Но через некоторое время приходилось снова пускать по полю ту же машину, и так много раз — ведь помидоры постепенно дозревают в течение многих недель. Колеса уплотняли почву, а рентабельность из-за многократных сеансов уборки сильно снижалась. Тогда изобретатели создали еще более остроумную машину, которая заставляла помидоры краснеть одновременно: она подравнивала растения в процессе их роста. Чего еще желать? Достигнута полная механизация выращивания и уборки урожая. Но следующий сюрприз оказался совсем уж неожиданным: массовый сбор помидоров сделал неразрешимой проблему упаковки. Обычные ящики не годились, а в большом контейнере



помидоры превращались в томатный сок с примесью пыли.

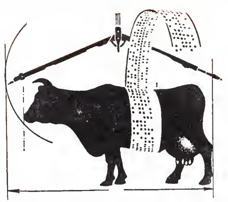
В конце концов все же не обошлось без селекционеров. Они вывели новый сорт, качества которого определялись уже отнюдь не запросами людей, а пожеланиями самого контейнера: помидоры стали твердыми, почти как зимний сорт яблок, облачились в толстую кожуру и приняли яйцевидную форму, более экономную для укладки в тару.

Так или иначе и в США и в других развитых странах сейчас одна за другой «выходят в тираж» сельскохозяйственные культуры, трудно поддающиеся механизированной уборке. Подобный процесс идет и в животноводстве: дальнейшая его индустриализация требует решительно видоизменить породный состав сельскохозяйственных животных, и не всегда критерием здесь служит рост их продуктивности. Корове, которая дает много молока, да еще и с высокой жирностью, воздадут должное: сводят на выставку, увеичают медалью, опубликуют ее родословную, но все это в большей мере по инерции, памятуя и уважая давние традиции селекционеров. После же шумного бенефиса вдруг оказывается, что в почете у практиков более скромные породы, которые ценят за «хорошее отношение» к технике. Ведь средства сельскохозяйственного производства—это животные в комплексе с машинами. Конечно, показатели продуктивности отнюдь не теряют своего значения и, очевидно, не утратят его и в будущем. Но они выступают уже не самодовлеющим фактором, а в сочетании с «технологическими» особенностями породы.

В хозяйствах Московской области до 1960 года числилось 16 пород крупного рогатого скота: все они устраивали зоотехников по продуктивности. Но вот в совхозах и колхозах стала укреплять позиции промышленная технология, и она попросила посторониться многие породы. Лидерами неожиданно стали две: черно-пестрая и холмогорская, которые не только щедры на молоко, но и хорошо приспособлены к машинному доению. Однако на этом процесс не закончился; с переходом на двукратное машинное доение черно-пестрых стали заменять на айрширских: у них молоко жирнее, а главное, вымя имеет бо́льшую емкость и хорошо развитые четверти. А знаменитая и безусловно заслуженная симментальская порода сейчас, пожалуй, вошла в конфликт с доильной машиной, и чем он закончится, пока неизвестно.

Но все это, пожалуй, поверхностные примеры. Корни кибернетизации неуклонно продвигаются вглубь, к самым основам сельскохозяйственного производства. Они все больше разветвляются в том базовом слое животноводства и растениеводства, которым является селекция. Сейчас уже прямо говорят о союзе кибернетики и селекции, и неожиданно в них нашли внутреннее родство — и в подходе к изучаемому объекту и в методах исследований. Ведь что такое селекция? Это отбор по определенным признакам — действие сродни распознаванию образов. Кибернетика же прибегает к селекционным методам при выборе модели, которая ей кровно необходима для решения задач управления.

Дарвинизм открыл непреложные законы, по которым развивался живой мир с момента своего возникновения. Под влиянием среды виды растений и животных изменялись и совершенствовались, приспосабливаясь к самым жестким ее требованиям. И хотя главная закономерность этого всеобъемлющего процесса была схвачена, учесть все множество и многообразие факторов, влияющих на становление видов, практически было невозможно. Селекционеры



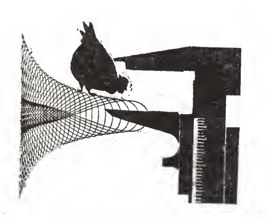
в стремлении улучшить виды во многом шли интуитивным путем. Когда же пытались проанализировать процесс во всех его тонкостях, возникала задача с бездной неизвестных. Вот маленький пример. Племенная карточка на корову — элементарная справка, необходимая селекционеру,— содержит тысячу разрядов всевозможных сведений; на ее составление идет месяц кропотливой работы. В птицеводстве, где количество особей намного больше, а поколения сменяются в десятки раз быстрее, вести селекционную работу еще сложнее. Нередко случается так, что отдельные представители поголовья — так сказать, генетические лидеры — успевают скончаться до того, как селекционеры дадут им полную оценку. Поэтому, как только появились счетные машины, они немедленно нашли употребление у творцов новых пород скота и сортов сельскохозяйственных культур.

Вначале казалось, что сравнительно простые счетно-перфорационные устройства будут вполне достаточными и сокращение сроков бонитировочной описи[1] с 30 дней до 36 часов считали ошеломляющим успехом. Но количество признаков, которые теперь стало возможным учитывать, росло лавинообразно. И вот уже селекционеры потребовали таких быстродействующих машин, как «Наири», «Мир» и другие. Сейчас и эти быстрые разумом компьютеры уже не успевают переработать всю племенную информацию. Постепенно они уступают место самым современным, универсальным быстродействующим ЭВМ.

Примечательно, что требования селекционеров-кибернетиков к электронно-вычислительной технике ничуть не ниже, чем самые претенциозные запросы разработчиков автоматизированных систем управления для сложнейших отраслей промышленности и научно-производственных объединений. А впрочем, ничего удивительного в этом нет: сельское хозяйство — одна из сложнейших систем, с которыми до сих пор приходилось сталкиваться человеку в его хозяйственной деятельности.

Если простые счетные устройства помогли в свое время сделать такое маленькое чудо, как корова с технологичным выменем и с копытами, которые не травмируются решетчатыми полами в стойлах, то нынешние комплексы электронно-вычислительной техники принимают участие в куда более глубоких вмешательствах в природу растений и животных. Дело в том, что идти по пути «механического» улучшения породы или сорта, как оказалось, отнюдь не всегда целесообразно. У природы и у сельскохозяйственного производства задачи на поверку совсем

[1] Бонитировка животных — оценка продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных животных.



неодинаковые. Так называемую зеленую революцию, как известно, сделали отнюдь не самые могучие представители из семейства злаков, а наоборот — карликовые, короткостеблевые сорта пшеницы. Они оказались способными выдержать такой вес колоса, который был бы не под силу обычным сортам.

Подобные «противоестественные» требования предъявило сельскохозяйственное производство и к животным: понадобились породы некрупные, но быстрорастущие. В птицеводстве, например, прочно вошла в «моду» мини-курица, весящая в возрасте одного года 1,2 кг и потребляющая 80—85 г корма в день. Обычная курица весит в этом возрасте около 2 кг и требует 105—110 г комбкорма.

Недавно в Украинском научно-исследовательском институте птицеводства с помощью генетико-математических методов выведены новые гибриды кур высокой яйценоскости. Одна несушка дает за год 248 яиц весом 58—60 г — примерно на 10 г больше обычного. Здесь же получены линии для выращивания стремительно растущих бройлеров, которые уже на 56-й день своей жизни весят 1,2—1,3 кг (обычные бройлеры достигают такого веса лишь на 63-й день).

Итак, судьбы пород определяет их контакт с техникой, с производством. Ну, а как же будет с человеком, осуществляющим эти контакты? Ему-то уж дозволят оставаться самим собой?

Нет, разумеется. На смену нынешнему зоотехнику должен прийти зооинженер. В табели о рангах такая профессия пока не значится, но за партами высших учебных заведений уже сидят студенты, в дипломы которых она будет вписана. Зооинженер, если позволено употребить здесь терминологию селекционного дела, будет гибридом биолога-практика и технолога сельского хозяйства. Чтобы быть хорошим «конструктором» сельскохозяйственных животных, он должен глубоко знать основы их поведения в искусственных условиях и, кроме того, обладать комплексом сугубо технических, технологических знаний и навыков.

С одним из таких будущих специалистов нам довелось беседовать в Одесском сельскохозяйственном институте. Он сказал, что в свое время мечтал о профессии машиностроителя, но не прошел по конкурсу в политехнический институт. Вначале горевал: не осуществились давно вынашиваемые надежды. Но в Одесском сельскохозяйственном открыл для себя новую увлекательную область — биологическую инженерию.

По-видимому, студенческая судьба этого юноши не уникальна. В последние годы приток студентов в сельскохозяйственные вузы постепенно увеличивается, и дело, видимо, не только в том, что здесь появляется все больше дисциплин, традиционных для технических вузов. Молодежь влечет в сельскохозяйственные институты новизна проблем, встающих перед этой отраслью, увлекательные перспективы научного управления возделыванием земли и животноводством. Ведь само понятие управления сельскохозяйственным производством тоже меняется, приобретая все более выраженную кибернетическую окраску. Подобно тому, как зоотехник эволюционирует в зооинженера, на смену бухгалтерскому работнику, колхозному экономисту да и самому председателю колхоза придет специалист по оптимальному управлению, а конкретнее — кибернетик сельскохозяйственного уклона. Более того, даже агроном постепенно «перерождается» в управленца. Ведь ему недостаточно обладать прочными знаниями в своей профессии. Он имеет дело с людьми, работающими в звеньях и бригадах, а их труд быстро усложняется. Раньше ему помогал в этом председатель колхоза, но сейчас его внимание концентрируется на других, более общих аспектах стратегии хозяйствования. Агроному все чаще приходится брать в руки бразды правления, а для этого нужна и экономическая подготовка.

И вот в учебных программах сельскохозяйственных вузов появляются кафедры с необычными для села названиями: высшей математики, экономической кибернетики, механизированной обработки информации, статистики; здесь преподают исследование операций — науку о том, как принимать оптимальные решения; методы сетевого управления, без которых, оказывается, не могут эффективно работать промышленные тепличные хозяйства и большие ремонтные мастерские; теорию массового обслуживания, определяющую наиболее рациональную очередность проведения всевозможных работ.

Все чаще в Одесском сельскохозяйственном институте устраивают управленческие семинары, этакие игры в будущее. Мы присутствовали на таком занятии и думаем, о нем небезынтересно будет узнать читателю.

Представьте себе лето, разгар рабочего дня в хозяйстве. Под стрекот косилок, доносящийся с поля, в экран телевизора с интересом вглядывается человек. Сюжет, развертывающийся перед ним, отнюдь не уникальный; обычная картина, которую он может ежедневно наблюдать на работе. Однако эта передача для него вовсе не развлечение; она непосредственно относится к его обязанностям и вообще ко всему, что происходит на полях, фермах и в мастерских. Это главный диспетчер колхоза; он не только смотрит на экран, но и принимает активное участие в событиях: отдает команды, слушает ответы людей, ставит им новые вопросы. Идет прямой диалог между ним и бригадой. Телевизор выполняет чисто производственную роль.

Телевизионная сеть соединила главного диспетчера со всеми участками, разбросанными на большой площади,— раньше ее мерил вдоль и поперек неутомимый «газик». Нам приходилось ездить на таком автомобиле по пыльным сельским дорогам вместе с усталым председателем колхоза, торопившимся до ночи объехать все бригады. Легко понять, какую огромную ношу снимет с него диспетчерский пульт, оборудованный, кроме телевидения, всеми существующими видами связи и способами сбора информации.

Мы не собираемся удивлять читателя воодушевленным описанием технических чудес, воплощенных в этой системе. Тем более, что она не вышла из стадии научной разработки. Пульт, с которого ведется этот репортаж, экспериментальный, и события развертываются не в колхозе, а в проблемной лаборатории кафедры управления Одесского сельскохозяйственного института. За пультом занял ме-

сто человек, слишком молодой для руководящей должности. Это будущий руководитель, студент, набирающийся опыта в условиях, максимально приближенных к производственным. Идет игра, но очень серьезная, учебная игра, в которой вырисовываются черты будущего села.

За спиной юноши в отдельных кабинах расположились его однокурсники. Действо происходит по сценарию, детально разработанному сотрудниками проблемной лаборатории; кабины условно означают производственные подразделения колхоза — места, где решается судьба урожая,— а сами студенты олицетворяют руководителей бригад и звеньев. На стене перед пультом карта учебно-опытного хозяйства института. Она дает представление не только о пространственном расположении хозяйственных участков, но и о том, насколько они насыщены людскими ресурсами, о наличии и состоянии техники.

Таким образом, прежде чем выйти на связь, главный диспетчер получает достаточную исходную информацию. Он мог бы обернуться, окликнуть своего коллегу и просто спросить, что́ ему нужно, но пользуется телевизором, телефоном, рацией. Таковы условия игры.

На карте, возле места расположения бригады № 2, замигал красный огонек. Что-то случилось с трактором.

— Вызываю начальника мастерской,— говорит диспетчер в микрофон.

— Слушаю вас,— отвечают в соседней кабине.

— Во второй бригаде вышел из строя трактор. Есть ли у вас резерв?

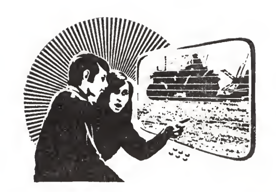
— Да, «Беларусь».

— Высылайте немедленно в поле.

Диалоги продолжаются. Потом они переходят в общий разговор: главный диспетчер по селектору проводит короткое производственное совещание с руководителями всех звеньев хлебного конвейера. На больших индустриальных предприятиях такие совещания, как и оперативный контроль и управление производством с помощью новейших средств связи и вычислительной техники, стали будничным явлением. Для колхозов и совхозов это дело будущего, хотя и недалекого. Ориентируясь на него, ученые стремятся решить проблему в комплексе: создать систему технического обеспечения, подготовить кадры, испытать новые методы в производственных условиях.

Результатом этой научной работы стала первая опытная система оперативного управления в колхозе имени Ленина, Овидиопольского района, Одесской области. Руководит хозяйством бывший студент института, а ныне его аспирант Борис Семашко. В колхозе внедряется первичное звено будущих районных и областных сельскохозяйственных АСУ, которые будут оборудованы вычислительными центрами. Диспетчерские пункты в отдельных хозяйствах станут источниками первичной информации для вычислительных центров. И теперь стоит вопрос о том, как перевести простые сельскохозяйственные сведения на понятный машинам язык цифр. Для этого разрабатывается специальный код.

Ростки сельской АСУ есть уже и в хозяйствах Московской области, в Новосибирской, Ленинградской областях, в Молдавии, Эстонии... Со временем эти усилия, пока еще разобщенные, носящие характер экспериментов, сольются в единую реку, носящую название Государственной АСУ сельского хозяйства. Она будет решать все проблемы сложнейшей области, начиная от составления меню для животных и кончая балансом капиталовложений внутри сельского хозяйства и между ним и промышленностью, транспортом, строительством.



Вообще говоря, вопросы управления не новы в сельском хозяйстве. История хранит поразительные примеры того, как люди подбирались к ним еще в незапамятные времена. В древней Месопотамии была обнаружена в высшей степени продуманная система оросительных каналов, распределявшая воды Тигра и Евфрата по полям и регулировавшая их катастрофические разливы. Как выяснилось, народам Месопотамии эти каналы достались в наследство от еще более древних племен, живших за несколько тысячелетий до нашей эры в Вавилоне, Уре, Ниневии. Ирригационная система поддерживала процветание огромной засушливой территории в течение многих столетий. И лишь после нашествия монголов во главе с Тамерланом, когда каналы были разрушены, обезвоженное Междуречье стало страной пустынь.

В последнее время со спутников Земли обнаружены следы других неизвестных нам цивилизаций, оставивших после себя сети ирригационных каналов. Раскопки еще не начались, но мы уже знаем, что главным источником их существования было поливное земледелие. Ученые предполагают, что причиной гибели этих государств были не столько опустошительные набеги врагов, сколько просчеты в построении оросительных систем. А быть может, в управлении ими.

Поистине извечны проблемы управления! Но поначалу их решали эмпирически, без участия науки. Очевидно, потому, что для этого не было достаточно сильного стимула. Человечество располагало огромными избыточными ресурсами земли, позволявшими наращивать урожай путем простой экспансии, распахивая незанятые территории. Когда-то людей удовлетворяла даже такая примитивная форма ведения хозяйства, как подсечно-огневое земледелие: чтобы получить новое поле, достаточно было сжечь лес. Истощив участок, древние люди переходили на другой, пока не наталкивались на естественный рубеж или на сопротивление соседнего племени.

Кстати, при всем своем расточительстве этот способ служил своеобразным регулятором народонаселения: тогдашних людей было столько, сколько могла прокормить занятая племенем территория. И если дальнейшее ее расширение становилось невозможным, часть племени гибла.

Разумеется, в современном обществе эти законы давно утратили силу. Отпали и факторы, сдерживающие прирост населения. За последнее столетие народонаселение планеты выросло больше, чем за всю предыдущую историю. Ученые предсказывают, что к 2000 году на Земле будет жить 6—7 миллиардов едоков. Такое количество людей, естественно, не прокормишь простым расширением посевных

площадей, тем более что эти возможности уже почти исчерпаны. Подобно тому, как древнее племя наталкивалось на лимит поля, современное человечество натолкнулось на ограниченные размеры земного шара. В науке появился новый термин — емкость планеты, то есть способность Земли прокормить то или иное количество населения.

По подсчетам советского ученого академика Л. И. Прасолова, теоретическая емкость Земли достигает фантастической величины — триллиона человек. (Другой вопрос, сможет ли вообще такое количество людей расположиться на суше нашей планеты?) Это при условии, что мировое сельское хозяйство впитает в себя все достижения современной научно-технической революции — агрокультуру, передовую технику и новые кибернетические методы управления. А они затрагивают не только управление хозяйством, но и целенаправленное воздействие на всю биосферу Земли. Солнечная радиация, поглощаемая культурными растениями, водные стоки, идущие на поля,— все это объекты управления со стороны человека. И если осуществить его в полной мере, с сельским хозяйством произойдет метаморфоза: главными житницами Земли могут стать не черноземные зоны, а нынешние пустыни. Ведь эти районы получают необходимой для фотосинтеза солнечной радиации больше, чем какие-либо иные участки Земли. Дело лишь за тем, чтобы наладить их орошение, иначе говоря, взять в свои руки управление водными стоками.

И вот в конце концов нам становится ясно, что Государственная автоматизированная система управления сельским хозяйством, какой бы всеобъемлющей она ни казалась на первый взгляд,— это лишь одно звено в решении гораздо более важного вопроса — достижения гармонии между человеком и средой. Недавно в киевском издательстве «Наукова думка» вышла книга севастопольского ученого В. И. Беляева под названием, которое может показаться сенсационным: «Управление природной средой». Однако ничего сверхъестественного в этой терминологии для современника уже нет. Бурное развитие автоматики, телемеханики, вычислительной техники открывает возможность управлять такими грандиозными системами, как природная среда на суше и на море. Теория управления природной средой — это синтез многих наук, в первую очередь биогеографии, метеорологии (или океанологии) и кибернетики.

Как же с точки зрения этой теории подойти к землепользованию?

Она требует приводить среду в состояние, оптимальное для развития культурных растений и сельскохозяйственных животных, то есть в такое состояние, при котором минимальные затраты труда и материальных ресурсов дадут максимальный выход продукции. Сельское хозяйство должно при этом развиваться по пути превращения полей в автоматизированные цеха, выпускающие сельскохозяйственные продукты.

Прямо скажем, идея подобного цеха не нова. Описание его можно встретить в литературе двадцати — тридцатилетней давности. Но в таких построениях речь шла о машинах, работающих без человека, то есть о максимальной степени механизации и автоматизации на полях. О судьбе же урожая, зависящей от климатических факторов, даже не задумывались: просто предполагалось, что в этом нам «повезет». Сейчас, говоря об управлении средой, мы естественно, включаем сюда и воздействие на нежные факторы природы, те, которые вместе с растениями и животными составляют биогеоценоз — взаимосвязанную совокупность среды и культивируемых в ней организмов. Управление же будут осуществлять не машины как таковые, а коллективы людей, вооруженных вычислительной техникой и, естественно, достаточно эрудированных для того, чтобы с ее помощью принимать правильные и оперативные решения. Уже сейчас имеется комплекс измерительной аппаратуры, позволяющей в любой момент узнать, сколько именно влаги и микроэлементов содержится в почве, каково состояние приземного слоя воздуха и, следовательно, как «чувствует» себя растение. Поле близкого будущего будет усеяно датчиками, которые автоматически введут все важные параметры в память управляющей машины. Получив такую информацию, кибернетический центр АСУ среды сможет выдать конкретные рекомендации о том, какие изменения нужно внести в среду, чтобы сделать ее наиболее благоприятной для развития растений.

Но это, так сказать, элементарный уровень управления биогеоценозом. Есть еще забота о том, чтобы урожаю не угрожали засуха, разливы рек, пыльные бури, суховеи и другие катастрофические явления природы. А это предполагает мощные воздействия на глобальные энергетические процессы — тоже в рамках АСУ природы.

Понятно, сейчас мы можем лишь мечтать о таком всеобъемлющем управлении природной средой, но логика развития движет нас именно в этом и только в этом направлении. И если говорить о новых профессиях в сельском хозяйстве, то в будущем на арену великих сражений за благосостояние человека выйдут специалисты нового типа — инженеры по управлению средой. И пусть мы не ждем в скором времени открытия соответствующих вузов, элементы такой квалификации может развивать в себе уже ныне любой работник сельского хозяйства. А тем более студент, готовящийся стать таким работником завтра.

Проблемы управления средой ныне волнуют весь мир. Зародившись в кабинетах ученых, они очень скоро переросли ранг умозрительных научных истин и вырвались на оперативный простор. Трудно сейчас отыскать человека, который не понимал бы, что будущее Земли зависит от каждого из нас, от нашего поведения, нашей экологической грамотности. Сообщения об очередной аварии с танкером где-то далеко в океане облетают мир в несколько раз быстрее, чем в свое время распространялись известия об извержении Кракатау или Везувия. Беззаботность дирекции предприятия, сбрасывающего сточные воды в реку, вызывает негодование сотен тысяч людей, никогда не ступавших на берег этой реки. Мы научились понимать, что ходим не просто по земле, а по земному шару. «Какая польза от дома, если у вас нет сносной планеты, на которой он мог бы стоять?» Это сказал один известный американский ученый и писатель еще в прошлом веке, и с каждым десятилетием эти слова звучат все более актуально.

Естественно, что проблемы развития сельского хозяйства перестали быть отраслевыми, ибо они содержат в себе вопрос: что мы будем есть завтра? — насущный для всего человечества. Да и сама профессия хлебороба — в самом широком толковании — становится не только социально значимой и граждански престижной; в скором времени грань между этим понятием и высоким званием ученого, видимо, окончательно сотрется.

Земля зовет лучшие умы. Только они способны по-настоящему возделать ее.





Фото
А. КАРЗАНОВА.

«С УЛЫБКОЮ НЕДВИЖНОЙ...»

В Москве, на Новодевичьем кладбище, на могиле известного русского поэта Велимира Хлебникова в конце прошлого года установлена подлинная «каменная баба».

Подобные каменные статуи, которые еще до недавнего времени тысячами возвышались на вершинах курганов по всей бескрайней причерноморской степи,—наследие половцев. Статуи эти необычайно выразительны и носят в народе название «каменных баб». Многие из них действительно изображают сидящих или стоящих женщин, украшенных серьгами, браслетами, в пышных одеяниях. Однако народное название весьма условно. Ведь среди этих «каменных баб» нередко встречаются статуи мужчин с усами, с оружием — словом, мужчин с головы до ног.

Эти каменные изваяния связаны с культом предков. Перед ними приносились в жертву животные — быки и лошади, собаки и овцы, а иногда совершались и человеческие жертвоприношения. Уже после ассимиляции половцев новыми хозяевами степей — татаро-монголами и оседлыми земледельческими народами — почитание половецких «каменных баб» сохранялось, но теперь им молились ради хорошего урожая. Поставленные на вершинах высоких курганов, часто на перекрестках различных дорог, иногда специально туда перетаскиваемые, эти каменные изваяния, издалека видные в степных равнинах, играли также роль постоянных и надежных дорожных знаков и ориентиров, подобно путевым столбам древних римлян. Как такие дорожные знаки они вошли в русские исторические и географические сочинения различных веков.

Новые «владельцы» статуй, не зная их происхождения, создавали на этот счет свои легенды. Например, такую. Жили когда-то в степях богатыри могучие, но очень вспыльчивые. Однажды разозлились они на солнце и стали плевать на него. Солнце же, возмущенное таким непочтительным отношением, превратило этих богатырей в каменных.

Хотя большинство «каменных баб» в южнорусских степях было возведено половцами, но далеко не только одни половцы — и вовсе не в одном лишь Причерноморье — воздвигали такие статуи. Подобные же каменные изваяния на необозримых просторах Средней Азии, Сибири, Восточноевропейской равнины создавали различные племена и народы еще со II тысячелетия до нашей эры: люди эпохи бронзы, раннего железа, скифы, сарматы, различные тюркоязычные, ираноязычные и другие племена. Все эти «каменные бабы» — бесценный материал для историка, позволяющий судить об одежде, украшениях, оружии, бытовых предметах, внешности, верованиях, обычаях давно ушедших в небытие, а также о прошлом и ныне здравствующих народов, величественные памятники искусства этих народов.

«Каменные бабы» вдохновляли не только историков и искусствоведов.

«Стоит с улыбкою недвижной,
Забытая неведомым отцом,
И на груди ее булыжной
Блестит роса серебряным
сосцом».

Это строки из поэмы, которая так и называется «Каменная баба», принадлежащей перу Велимира Хлебникова.

Едва ли не самым любимым жанром в творчестве Хлебникова (о котором Осип Мандельштам писал, что он «возится со словами, как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие») был эпос, творимый им эпос, возникающий, как и всякий подлинный эпос, на основе сказки или были народной. Поэтому русское язычество, само послужившее источником многих произведений русского сказочного эпоса, впитавшее в себя языческие сказания ряда соседних племен и народов, органически вошло в творчество Хлебникова. Не только упомянутая уже «Каменная баба», но и многие другие произведения поэта: «Повесть каменного века», «Шаман и Венера», «Три сестры», «Лесная тоска», «Вила и Леший»— вдохновлены языческими образами, фольклором.

Близкая дружба связала Хлебникова с талантливым художником Петром Митуричем. Митурич видел в Хлебникове не только необыкновенного одаренного поэта, обаятельного человека, но и учителя жизни, философские и художнические взгляды которого были чрезвычайно близки ему. Как созвучно, например, творчеству Хлебникова такое понимание Митуричем возможностей живописи: «Живопись по материалу воплощения (краска — это волна света в руках художника) — тончайшим образом может формировать идеи, еще не дошедшие до полного осознания, но определяемые подсознательно».

Весной 1922 года поэт и художник поехали в деревню Санталово Новгородской области. Там рассчитывал Хлебников оправиться от тяжких испытаний, выпавших на его долю, окрепнуть, набраться сил.

Однако вскоре после приезда в Санталово поэт заболел и после долгих страданий 28 июня 1922 года тридцати семи лет от роду— возраст фатальный для многих выдающихся русских, да и не только русских поэтов— скончался на руках у друга. Петр Митурич нарисовал портрет поэта за день до его смерти, а затем и на смертном одре.

Митурич похоронил друга, отметил на плане место его погребения и вернулся в Москву. Вскоре из Астрахани прибыла туда и художник Вера Хлебникова — сестра поэта. Занимаясь наследием брата, она, естественно, познакомилась с Петром Митуричем. Знакомство это вскоре перешло в любовь.

В 1970 году художник Май Митурич, сын Петра Митурича и Веры Хлебниковой, вместе с учеником своего отца художником Павлом Захаровым по командировке Союза писателей СССР поехал в деревню Санталово. И прах Велимира Хлебникова был перевезен в Москву и погребен на Новодевичьем кладбище, где уже покоится прах его матери, Екатерины Николаевны, сестры Веры и Петра Митурича. Борис Слуцкий писал:

Нет, покуда я живу,
сколько жить еще ни буду,
возвращения в Москву
Хлебникова
не забуду:
праха — в землю,
звука — в речь.
Буду в памяти беречь.

И вот поэт Борис Слуцкий и художник Май Митурич, исходя из самого духа и содержания творчества Хлебникова, решили установить на его могиле подлинную «каменную бабу». Союз писателей поддержал эту идею. А с просьбой добыть «каменную бабу» Слуцкий и Митурич обратились ко мне, рассчитывая, и не без основания, что как писатель я пойму их желание, а как археолог смогу его осуществить.



Этот «Вестник» — одна из совместных работ Хлебникова и Митурича — библиографическая редкость.

Дело, однако, оказалось очень трудным. Разумеется, у меня много не только знакомых, но и друзей среди директоров музеев. Но какой директор власти выдать из музея «каменную бабу»? Что ж, ведь «каменные бабы» еще и до сих пор высятся на вершинах курганов. Провели разведку, обнаружили ряд таких изваяний, относящихся к самым различным эпохам и расположенных в разных местностях. Казалось бы, чего уж лучше. Выбирай какая понравится и перевози ее в Москву!

Но выявилось неожиданное обстоятельство. Все «каменные бабы», стоящие на вершинах курганов, пользуются у местных жителей большой популярностью и находятся под их охраной. Перед праздниками их даже частенько моют и белят. Увозить же «каменную бабу» украдкой, ночью — даже во имя того, чтобы установить ее на могиле Велимира Хлебникова,—мы сочли безнравственным.

Казалось, дело зашло в тупик. И вдруг после нескольких лет бесплодных поисков и раздумий — неожиданная удача. Мой друг и коллега Леонид Зяблин, работающий в Средней Азии, обследуя местность на берегу высокогорного озера, сделал счастливую находку. Стоявшая на вершине какого-то кургана «баба» еще в давние времена упала с него и стала постепенно погружаться, уходить в землю. Когда мой коллега обнаружил ее, над землей еле виднелась лишь самая макушка «бабы».

Зяблин выкопал «бабу», привез ее в Москву и передал через меня в Союз писателей. «Баба» оказалась удивительно выразительной. Черты лица ее явно тюркские. В правой руке — нечто, напоминающее круглый сосуд, имеющий форму плода граната, который на всем Востоке является символом вечной цикличности, взаимосвязанности и взаимоперехода жизни и смерти. Скульптор, изваявший ее около полутора тысяч лет тому назад, был подлинным художником.

Под руководством архитектора Елены Морозевич мы и установили эту статую на Новодевичьем кладбище. Здесь находится она под надежной охраной и достойно венчает могилу поэта.

Георгий
ФЕДОРОВ

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛЕРМОНТОВЫХ

Все, как обычно,— шло ординарное на первый взгляд заседание. Научные сотрудники Бородинской панорамы рассказывали о своей работе. Сидевшие в зале посылали выступавшим записки. Все, как обычно,— только не для человека, попавшего сюда впервые. За стеклом на стеллажах — мундиры двенадцатого года, бюст Наполеона, а в зале — люди, которых родство связывает с легендарными героями Бородина. В голове крутилась почти хлестаковская фраза: «У нас и компания составилась — правнучка Кутузова, праправнук Дениса Давыдова, правнук... и я».

Потомки героев Бородина составляют своеобразный совет потомков при панораме. Они рассказывают о своих предках школьникам, выступают на вечерах.

История совета потомков началась в 1962 году, когда Наталья Михайловна Хитрово, праправнучка Кутузова, выступила на открытии музея-панорамы Бородинской битвы. Вы не представляете, как интересно слушать рассказы Натальи Михайловны о Кутузове! Так я узнал, например, что великий полководец никогда не прятал свой невидящий глаз под повязкой. А ухаживая за Екатериной Ильиничной, своей будущей женой, он всегда садился к ней боком, чтобы не было видно глаза, затянутого белой пленкой.

К солдатскому котлу Кутузов присаживался не ради того, чтобы понравиться своим солдатам. Он действительно любил простую пищу. По словам Натальи Михайловны, сцена из «Войны и мира», в которой Кутузов ест курицу во время Бородинского сражения, не имела под собой реальной почвы. Больше всего Кутузов любил гречневую кашу.

— Любовь к гречневой каше — это у нас наследственное,— сказала мне Наталья Михайловна.— Во время последней войны, когда о гречневой каше приходилось только мечтать, мне напоминал о ней глиняный горшочек с деревянными ложками, похожими на те, какими любил есть Кутузов.

По совету Натальи Михайловны я направился к Владимиру Алексеевичу Казачкову, который, разыскивая потомков героев Бородина, является владельцем целого «потомковедческого» архива.

Кабинет Владимира Алексеевича с огромным столом, обтрепанным старинным креслом, антикварными книгами на полках, казалось, был вырван из стен старого московского дома с высокими потолками и облупившимися кариатидами у входа и силой втиснут в типовую квартиру нового квартала. Стоило прикоснуться к одной из полок, как вниз полетели бумаги, листы ватмана, свернутые в трубочки. Переждав этот «листопад», Владимир Алексеевич выбрал самый увесистый рулон с пожелтевшими краями:

— Кажется, то самое...— торжественно произнес он.

Имена, фамилии и соединяющие их прямые, проведенные хорошо отточенным карандашом, образовывали на этой четырнадцатиметровой таблице мощное генеалогическое дерево.

— Объединил родством, свойством,— сказал Владимир Алексеевич, которому известны около трехсот ныне здравствующих потомков героев Бородина.— Появляются, правда, и лжепотомки. Сейчас есть, например, четыре кандидата в потомки Кутузова... Советую вам познакомиться с Петром Николаевичем Лермонтовым,— сказал мне Казачков.— Мы вместе учились в первом Московском кадетском корпусе. И, представьте, Петр Николаевич не только потомок великого поэта, но и правнук мичмана Лермонтова — героя Бородина, который с группой саперов взорвал мост и отрезал полк французов от основных сил. Но и это еще не все. Сам Петр Николаевич осенью сорок первого года воевал на Бородинском поле, защищая подступы к Москве. Такой потомок у меня один.

И вот я у последнего из рода Лермонтовых. В 1941 году Петр Николаевич был начальником штаба авиаполка, и его командный пункт действительно находился на Бородинском поле, рядом с редутом Раевского.

Петр Николаевич прошел три войны, но в своих воспоминаниях чаще всего возвращается к Великой Отечественной.

— В нашем полку Тимур Фрунзе служил. Это под Ленинградом было. Прикрывая наши войска, он атаковал несколько фашистских самолетов и погиб, как герой. Тимур Михалыч... Он все-таки посадил самолет. Мы вынули его из кабины — из-под шлема кровь. Так и умер у меня на руках...

На письменном столе лежал портрет Тухачевского. Я посмотрел на Петра Николаевича.

— Да,— ответил он.— Это Миша. Мы с ним вместе учились в кадетском корпусе. Он был старше меня, и чаще всего мы встречались в музыкальном классе. Я играл на кларнете, а Тухачевский на скрипке. Миша всегда кричал мне: «Лермонтович, перестань гудеть — мне играть невозможно». А я ему отвечал: «Твоя скрипка наводит меня на грустные мысли». Посмеемся, он отойдет в угол и там играет. Не знал я тогда, какая ждет его судьба...

Сняв со стены женскую фотографию, Петр Николаевич молодо воскликнул:

— Знаете, кто это? Вера Холодная — звезда немого кино. Я познакомился с ней в Ярославле в 1918 году. Она остановилась в «Бристоле», и газеты сообщали об этом. Я увидел ее на бульваре — тут же узнал. Я остолбенело смотрел, как она шла. Так смотрел, что она улыбнулась...

Затем Петр Николаевич протянул мне полуистлевшие бумаги.

Передо мной был протокол допроса Лермонтова после его дуэли с Барантом. И в конце: «... в вышеозначенных ответных пунктах я показал самую истинную правду. Лермонтов». Подпись, знакомая по бесчисленным факсимиле, имела необыкновенную притягательную силу.

— Но вы ведь потомок не только великого поэта, написавшего «Бородино», но и того малоизвестного мичмана, который сам участвовал в Бородинском сражении?..

— Он уж не мичманом — адмиралом служить кончил. А в общем, у нас в семье о нем мало говорили. Ведь все были кавалеристами или пехотинцами, папа мой был штаб-ротмистром Сумского гусарского полка, а наш адмирал — Михаил Николаевич — вопреки традиции в моряки пошел,— ответил последний из рода Лермонтовых.— Да что там, я и сам хорош — в эту войну был летчиком.

Л. КАРАХАН

К сожалению, Петр Николаевич Лермонтов не дождался выхода этого номера «Юности»: когда журнал готовился к печати, он внезапно заболел и скончался.

СМЕХ С МАЙОНЕЗОМ

В Одессе меня все принимали за клоуна. И не только потому, что на голове у меня красовалась кепка с большим помпоном — настроение у народа было такое...

В Одессе шел традиционный весенний День смеха. По городу катил шутовской автопробег до потопных драндулетов, а нас представителей прессы, везли следом в специальном автобусе из окна которого я и высовывался в своей дурацкой кепочке.

— Во морда! — крикнул вдруг какой-то мальчик. И народ покатился со смеху.

Так я стал не гостем «Юморины-75», а ее участником. И это, надо вам сказать, намного приятнее!..

Профессионалы-клоуны, наверное, привыкли появляться перед толпой в смешном виде. Но нас, любителей, это взвинчивает невероятно. Хочется пройтись колесом, кукарекнуть, подарить милиционеру апельсин и — знать бы, как это делается! — пустить из глаз два фонтана слез...

Я понимал, что меня к этому обязывает моя кепка, но клоунами в этот день в Одессе чувствовали себя все. И те, кто веселой гурьбой ряженых катил по Дерибасовской, и те, кто восседал за рулями разрисованных авто.

Организаторы «Юморины» — газета «Вечерняя Одесса», ее отдел юмора «Антилопа Гну» — и на этот раз крепко поработали над созданием праздничного настроения у своих земляков.

Город ходил ходуном. Привычный стереотип привычных суббот и воскресений был сбит. Народу это нравилось, народ отдыхал, как никогда. Стадион, на котором в этот раз происходили основные действа «Юморины», был переполнен — сорок три тысячи человек! Это не считая честных безбилетников, целыми пачками сигавших через прутья оградительной решетки.

— Такого ни на одном футбольном матче не было! — радостно восклицал директор стадиона.

Еще бы! Где, на каком стадионе мира вы увидите, к примеру, забег на приз Паниковского? Спортсмены, на этот раз обряженные в серые макинтоши, с авоськами в руках, что есть сил жали за машиной, в кузове которой сидел сам Михаил Самузлевич, прижимая к себе белого гуся. Ах, как жалко ему было расставаться с 6 кг 250 г свежей гусятины!



Но это что! У зрительниц была возможность получить стиральную машину. Надо было лишь предъявить фотографию с трогательной надписью: «Дорогой невестке от любящей свекрови». Как это ни странно, ни у кого подобной карточки не оказалось... Машину увезли.

Честные безбилетники осаждали и Дом культуры студентов, где Одесский театр веселых и находчивых давал премьеру «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Режиссер спектакля Олег Сташкевич напомнил, что сегодня, 1 апреля, день рождения Гоголя... Как удачно вы выбрали день рождения, дорогой Николай Васильевич!

— Для нас первое апреля начинается второго апреля каждого года, — сказал на пресс-конференции секретарь Одесского горкома партии Евгений Иванович Стеценко. — В том смысле, что сразу же после очередной «Юморины» мы начинаем готовиться к следующей.

Одесская «Юморина» встала на ноги, приобрела вес и, хотя до сих пор она еще не включена в календари, празднуется регулярно. В этом году на «Юморине» был аккредитован представительный пресс-корпус. Тут были и «Фитиль», и «Крокодил», и «Комсомольская правда», и «Неделя» и «Литературная газета»...

Надо сказать, что журналисты на этот раз были на высоте самой «Юморины». Помню, как в ночь под 1 апреля, когда хорошее настроение гостей «Юморины» стало приближаться к апогею, корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Рост сказал только что спустившемуся с Чегета московскому инженеру Ярославу Харечко: «А мог бы ты на горных лыжах съехать, к примеру, с Потемкинской лестницы?» На что Слава, как и подобает настоящему мужчине, ответил положительно. Тут же по всем правилам было заключено пари. И на следующий день под звуки веселого похоронного марша, исполняемого тремя наемными скрипачами, Слава это пари выиграл. Но Ю. Рост тоже не проиграл — он напечатал фотографию уникального лыжного спуска в «Комсомолке» и породил еще одну одесскую легенду. Хотелось бы надеяться, что на будущих днях смеха войдут в веселую традицию шутливые пари и розыгрыши, разумеется, связанные с меньшим риском для коленночашечного состава и для Потемкинской лестницы...

Что же еще новенького происходило на «Юморине»?..

В прошлом году был выпущен значок «Первое апреля». Тогда это был единственный сувенир Дня смеха. В этом году веселые морячки со спасательными кругами проявили необычайную активность и перекочевали на конфетные коробки, пивные пробки, крышечки, закрывающие банки с майонезом и соками, а один, самый предприимчивый, пристроился на красивый крепдешиновый платок и сразу возрос в своей стоимости до шести рублей. И хоть на платке было написано «Первое апреля», дешевле этот платок никому приобрести не удалось...

Веселая «Юморина» кончилась для меня очень печально. Приехав домой, я обнаружил, что в самолете Одесса — Москва оставил свою любимую кепку с помпоном. Наутро я позвонил в Бюро находок Аэрофлота.

— Кепочку в самолете не находили? Такую смешную, с помпоном...

— Ничего смешного вчера не находили, — ответил мне сухой официальный голос.

В. СЛАВКИН



«ОБОЙДУСЬ БЕЗ ДЕТЕКТИВОВ»



Двадцатидвосьмилетняя Татьяна Анатольевна Тарасова — самый молодой заслуженный тренер СССР. Тренером, кстати, она стала уже в двадцать. Ее отец, Анатолий Владимирович Тарасов («Тарасов хоккейный», как говорилось до недавнего времени, сейчас можно сказать «Тарасов футбольный»), публично — в печати — высказал тогда сомнение в том, что Таня свой педагогический путь начала правильно: сразу с опытными мастерами, миновав этап ученичества, работы с детьми. Резонны ли были его сомнения? Так или иначе, фигуристы, подготовленные Тарасовой-младшей, ее спортивные и танцевальные дуэты не раз занимали места от третьего до шестого на чемпионатах Европы и мира, с прошлого сезона она работает с Ириной Родниной и Александром Зайцевым, и они по-прежнему сильнейшие в мире, а Ирина Моисеева и Андрей Миненков, новые чемпионы в танцах на льду, выращены ею почти «с нуля».

Когда Таня ушла из спорта из-за хронического вывиха плеча и решила было стать танцовщицей в ансамбле Моисеева, ей позвонил Саша Тихомиров (была такая пара: Суслина—Тихомиров): «Тарас, берись нас тренировать»,—и она как головой в омут. Этот рискованный поступок — в стиле ее характера.

— Я всегда видела перед собой образ отца,—говорит Таня.—Он был моим тренером, моим педагогом, вообще всем... Когда он отдал меня в фигурное катание, он учил меня не просто ходить по улице, а прыгая, подпрыгивая... Не просто смотреть, хлопать глазами, а наблюдать — с толком, с пользой для себя... Он учил этому и в детстве и позже; просто я, наверное, плохо усваивала его уроки...

— А в принципе, как ты думаешь, надо родиться тренером или можно научиться этой профессии?

— Не знаю... Надо хотеть. Знать, конечно, предмет. Любить. И еще — любить детей и страстно, изо всех сил желать сделать их лучше, чем ты была...

Эту последнюю ее фразу заметим для себя особо. Порой мне кажется, что великому спортсмену труднее стать тренером (действующим, а не тренером-администратором), чем «невеликому»: ему помехой он сам на той высоте, на которую себя вознес. Однажды в публичном выступлении Олег Протопопов в ответ на вопрос, почему они с Белоусовой не избрали тренерскую дорогу, признался: «Мы не представляли, что можем вырастить новых Белоусову и Протопопова, а серость растить не хотели». Трудно, даже невозможно недавнему чемпиону порой представить, что его воспитанники пойдут выше и дальше, чем он сам, и иным маршрутом, опровергнув многое из найденного прежде им самим. Я спросил Тарасову, согласна ли она с этим.

— Согласна, это беда многих выдающихся спортсменов. Личный пример всегда хорош, но наша работа требует больше самоотказа, чем самоутверждения.

— Виктор Ильич Алексеев, выдающийся советский спортивный педагог, создатель «школы Алексеева», определил мне когда-то главные тренерские черты так: «Терпение и знание, но главное — терпение». Как ты относишься к этому?

— У меня всегда не хватало терпения, я все хотела побыстрее. А вообще, конечно, если тренер уверен, что из ученика получится толк, если он его видит чемпионом — понимаешь, он *его видит*,— нужно терпеть, нужно время, время и терпение... И нужен фанатизм. Нужна колоссальная влюбленность в свое дело, когда все время о нем думаешь, на улице думаешь, дома думаешь, не устаешь думать и все время для своих «детей» что-то делаешь (знают они это или нет, неважно)—учишься для них, музыку слушаешь для них, в кино ходишь для них...

— В кино — для них?

— Потому что бывают фильмы, нужные тебе и те, без которых можно обойтись. Мне нужны музыкальные, мне нужно много музыки для программ, а без психологических драм на экране я обойдусь и без детективов тоже.

— Ты и учеников своих приучаешь к самоограничению?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фото А. КАРЗАНОВА.

— Нет, знаешь, наоборот: мне хочется, чтобы они жили веселее и разнообразнее, чтобы умели веселиться — пели, танцевали, чтобы им хотелось, например, в поход пойти собственными ногами. Хочу, чтобы ходили в театр — в балет...

— Но балет для фигуриста ведь не просто зрелище, а род учебы, правда?

— Не только: из театра всегда возвращаешься наполненным. Хочется, чтобы у них были интересные друзья, просто друзья, завести которых у спортсмена не всегда есть время... Чтобы читали больше... Знаешь, в этом году в турне по Сибири вся сборная увлеклась книгами... Мода такая возникла, книжная такая горячка... Отсылали домой бандероли, посылки с книгами...

— А ты много читаешь?

— Меньше, чем хотелось бы. Когда есть время — о работе сердца, конечностей... О воспитании выносливости... Об акклиматизации и реакклиматизации...

Рассказываю Тарасовой, как Владислав Степанович Расторопкий, тренер Турищевой, как-то раз, стоя у меня дома возле книжного шкафа, говорил: «Это собрание сочинений я тоже купил и это — тоже, хотя не прочел — руки не дошли, но, понимаешь, обязан...» Вечная тренерская боль: надо читать, надо учиться, чтобы хотя бы не отстать от своих ребят, и неоткуда взять на это времени...

— Конечно, неоткуда. Раньше мне казалось всегда, что я достаточно работаю, а когда ко мне перешли Роднина и Зайцев, я поняла: мало. Мало и плохо. На меня такая навалилась ответственность... То, что я делала на прежнем этапе, знаешь, как-то всех удовлетворяло... А Роднина и Зайцев — это, как ни говори, общенародное достояние. И столько у меня было сомнений, смогу ли поставить им программу, смогу ли провести хоть одну интересную для них тренировку, смогу ли не разочаровать их...

— Скрываешь от ребят свои сомнения?

— Иногда. Иногда у меня это получается. А чаще — нет, да я к этому особенно и не стремлюсь.

— А в них, в ребятах, ты всегда уверена?

— Я восторженный человек, я способна больше, чем надо, восхищаться соперниками и преувеличивать их сильные стороны... Вдруг я начинаю излишне копаться в недостатках ребят, это мне мешает... Вдруг закопаюсь в воспитательных вопросах... Например, они затеют какой-то спор, а ты вмешаешься, налетишь, наорешь — смотришь, и тренировка пропала...

«Закопаюсь в воспитательных вопросах» — это как раз о самом тонком во взаимоотношениях между тренером и его учениками, которые, как ни говори, живые люди, очень юные люди, подверженные всем живым юношеским чувствам... Это ведь не так просто, хотя один мой знакомый тренер любит всерьез повторять: «Пока намеченный план не выполним, никакой любви!»

— Таня, полагаешь ли ты, что имеешь моральное право вмешиваться в их личную жизнь?

— При очень хороших отношениях с ними... Очень доверительных... Имею право дать совет. Если попросят. Или если очень необходимо. Они молодые, они хотят сами все испытать... Предостерегать, запрещать, касаясь их сердечных дел, я бы не взялась.

— А что, если эти «сердечные дела» мешают тренировочному процессу?

— Любовь не может помешать. Любовь возвышает. А вообще у них, знаешь, мало времени на любовь.

— Пожалуй, было бы легче работать с людьми спокойными, рассудительными, не очень эмоциональными, не так ли?

— Спокойнее — да. С эмоциональными тяжело. Но интереснее, чем с «простенькими». Интересно и трудно, например, с Моисеевой. Или с Родниной. Их заедают монотонность, многократные повторения одного и того же... Им кажется, что лучше, чем есть, уже не сделаешь... Они ж не всегда видят себя со стороны... Не всегда знают максимум своих возможностей...

— И как быть в этом случае?

— Говорить об одном и том же по-разному, в словах не повторяться. Раз сказала, например, «оставь плечо», два — «оставь плечо»... Она уже пятнадцать раз оставила плечо... «Ира, посмотри туда, улыбнись туда, в том ряду сидит человек, который тебя любит...»

— Опять про любовь?..

— Опять...

— И, выходит, дипломатия?

— Ой, не последнее в нашей профессии дело!..

Мне много раз говорили спортсмены — и тренеры тоже — о необъяснимой психологической связи, возникающей в момент соревнования между учеником и учителем. Закончив упражнение, знаменитая гимнастка Астахова могла, например, сказать своему тренеру Владимиру Смирнову, отвлекался он или нет, все ли движения мысленно проделывал вместе с нею.

— А ты, Таня, веришь ли в подобного рода телепатию?

— Верю. Вот когда выходят Моисеева и Миненков, я всегда чувствую, какие у Иры сейчас ноги: тридцать метров они едут к старту, и я чувствую, хорошие ноги или плохие... Если хорошие, я смотрю на обоих, на Иру и Андрюшу, если плохие—смотрю ей в ноги, и веду ее, и каждый шаг делаю вместе с нею... Может быть, помощи никакой, но мне так кажется... Я во время проката никогда не смотрю им в глаза. Я очень боюсь, когда они стараются поймать мой взгляд... Они должны быть погружены в себя и если ищут мой взгляд, значит, их что-то отвлекает и беспокоит. И я жестом пытаюсь приказать им сосредоточить внимание... Как это действует, я почти не знаю. Это, конечно, моя педагогическая недоработка, что не знаю... Надо бы спросить... Но мне кажется, что это так, и я не хочу себя разубеждать.

— Таня, сейчас, когда все вопросы, заготовленные в моем блокноте, исчерпаны, я хотел бы вернуться к тому, с чего начался разговор. Ты сказала тогда, что главному в своей профессии училась у отца. А что для тебя главное в твоем отце?

— Мужество. Терпение. Беспредельная любовь к спорту. Понимаешь, уже ведь на старости лет, приобретя такую популярность, столько сделав для нашего хоккея... и взяться за дело, за которое, по-моему, никто бы на его месте не взялся... Его влечет не слава, он не может не работать, не создавать. На тренировках бегает, хотя связки повреждены... Он такой человек, что не может проводить тренировку с рупором, он сам должен с мячом бегать. Не может иначе, понимаешь? Ему нужно страдать, мучиться... И знаешь, как он рад за меня? Я его таким счастливым не видела. Рад больше, наверное, чем когда-то за себя... Я даже не могла представить, что я его так обрадую. У меня самой все иначе, у меня сейчас страх, тревога—хватит ли меня, смогу ли? Надо же теперь делать все самое лучшее...

Беседу вел С. ТОКАРЕВ

В НОМЕРЕ 7 1975

ПРОЗА



Г. БАРДИН

КРОШЕЧНЫЕ СКАЗОЧКИ

Рисунки Т. ГНИСЮК.

